



СЕМЕН БОРЗУНОВ

# Не первая атака

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»



СЕМЕН  
БОРЗУНОВ

Не

первая атака

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1973

Р2  
Б82

РИСУНКИ А. Л У Р Ь Е

иллюстрации  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1973 г.



Солнце уже высоко поднялось над дымным горизонтом, когда Сергей Деревянкин, голодный, измученный и грязный, вернулся из полка, который с тяжелейшими боями форсировал Дон и занял плацдарм на его западном берегу. Надо бы хоть немного поспать, обсохнуть, поесть, успокоиться... Надо! Даже солдаты, участвовавшие в штурме вражеских позиций, выведены из боя и приводят себя в порядок, отдыхают. Но он не может. Никак, ни при каких условиях. Журналистский долг требует, чтобы обо всем увиденном и пережитом было сегодня же напечатано в газете. Вся дивизия должна узнать о событиях, происшедших ночью, о наиболее отличившихся солдатах и командирах. О новой победе советского оружия...

Сергей сам это прекрасно понимает. А тут еще редактор стоит «над душой» и вопрошающе смотрит на него: газету, мол, уже давно надо запускать в печать, а полоса, приготовленная для очерка Деревянкина, пустая. Никто же, кроме тебя, не напишет.

Ждет машинистка, ждут наборщики, печатник, экспедитор, работники полевой почты. Ждут тысячи читателей.

Деревянкин с трудом разомкнул веки, взглянул на стоящих вокруг

него товарищей и тяжело опустился на пенек, рядом с которым были замаскированы наборные кассы.

А ноги гудят, ломит руки, стучит в висках. Голова словно чугунная. Но надо одолеть и эти препятствия. Надо заставить себя вспомнить все как было. С начала и до конца. Со всеми подробностями, во всех деталях. Надо, Сергей. Надо!

Деревянкин резко встряхивает голову, прижимает ладони к вискам, напрягает память, и перед его глазами оживают картины минувших дней...

## I

— Батальон, смирно! — громко скомандовал старший лейтенант Даниелян. Потом повернулся направо, стараясь не показать, как болит раненая нога, и потому, ступая особенно четко, торжественным строевым шагом подошел к стоявшему поодаль командиру полка Казакевичу.

Утреннее донское солнце скользнуло по истрепанным, но щегольски начищенным сапогам комбата. Правая нога заныла, но Даниелян, словно в отместку за боль, жестче отрубил последние шаги и резко вскинул руку к выцветшей, лихо сидевшей пилотке:

— Товарищ подполковник! Батальон по вашему приказанию построен! Докладывает командир батальона старший лейтенант Даниелян.

— Здравствуйте, товарищи!

— Здравия желаем, товарищ подполковник! — дружно, как один, ответили солдаты.

— Вольно! — отдав честь, скомандовал подполковник.

— Вольно! — обернувшись к поредевшему в недавних боях батальону, по-мальчишески звонко и даже задорно крикнул комбат, знавший, как важно голосом, выправкой, улыбкой поддержать своих ребят.

Сам старший лейтенант Даниелян некоторое время оставался в положении «смирно», внимательно глядя на бойцов, на командира роты лейтенанта Антопова, на взводного младшего лейтенанта Германа, на отличившихся в контратаке солдат Захарина, Бениашвили, Черновола. И они, уловив нечто чрезвычайное и в голосе комбата, и в его блестящих глазах, и в стойке «смирно», сами еще больше подтянулись. И хотя батальон не сдвинулся с места, он будто стал плотнее, точно и погибшие, и раненые все до одного заняли свои места в строю и приготовились слушать командира полка.

— Товарищи бойцы! Отважные воины!

Еще на рассвете командир полка с комиссаром тщательно обдумал свою речь, но начал ее сейчас еще теплее, потому что ощутил такую слитность бойцов и офицеров с собой, такое единство, которое исключает всякую официальность. И в третий раз он как-то уж очень доверительно и тихо сказал:

— Дорогие друзья!

Подполковник Казакевич вытянулся и замер перед батальоном, как перед знаменем. Точно произнося слова присяги, размеренно начал он свою речь:

— В недавнем бою вы доказали, что ваш батальон стоит целого полка. Ни один раненый и убитый не упал лицом на восток, только — на запад. Вы смогли выдержать то, что не смог вынести металл. Броня сплющивалась и плавилась, а вы стояли. И наш фланг, весь наш фланг, устоял, потому что ваше мужество было беспримерным. Многие отличившиеся представлены к наградам. Но все вы, все, как один, заслуживаете самой высокой похвалы и самого высокого доверия. Спасибо вам от лица командования.

- Подполковник Казакевич сделал паузу. Вытер платком вспотевшее лицо. Поправил рукой спадавшую со лба прядь волос и стал излагать наиболее трудную часть своей речи — передавать смысл приказа Верховного Главнокомандующего товарища Сталина от 28 июля 1942 года. Об этом документе в полку никто еще, кроме него, не знал,

— Но враг еще силен, — продолжал командир полка. — Вы знаете, он проник к Северному Кавказу, богатому нефтью. Он рвется к Сталинграду, на Кубань... Отступать дальше некуда. Отступать дальше — значит погубить себя, а вместе с тем и нашу Родину... Ни шагу назад... Таков приказ нашей великой Отчизны!

Тут ему, политруку — корреспонденту газеты «Красноармейское слово» — Сергею Деревянкину, показалось, что подполковник одобрительно посмотрел и на него, Сергея, тоже дравшегося южнее Воронежа и сумевшего ярко и подробно описать замечательные подвиги товарищей в своей газете. И, будто уловив мысли Деревянкина, командир полка продолжал:

— Еще не затихли выстрелы, а ваши подвиги уже вошли в историю: листки нашей дивизионной газеты будут в грядущем перечитываться, как страницы легенд. Еще раз сердечное вам спасибо! Я обнимаю вас всех, обнимаю взглядом и сердцем эту придонскую землю, истерзанную, измученную, окровавленную. Я знаю, что Родина и партия могут и впредь положиться на нас, как это бывало не раз. Они доверили нашему батальону первым начать форсирование Дона, начать переправу, чтобы обезглавить вражескую оборону на том берегу, чтобы стать первыми в будущем всеобщем наступлении. Оно не за горами. К этому мы должны быть готовы каждый день и каждый час...

Подполковник уступил место комиссару, и майор Мурадян, четко выговаривая каждое слово, как бы продолжал мысль командира:

— Партия бросила клич «Ни шагу назад!». И мы откликнулись. Враг не сдвинул нас с места: все остались на своих позициях. Теперь близок день, когда мы услышим: «Вперед!» И оттого, как, — он особенно подчеркнул это слово, — будут действовать передовые группы,

зависит исход наступления. Форсировать Дон в районе Селявного — трудная, опасная задача. Мы это знаем и поэтому никому не приказываем. Нужна разведка боем, которая положит начало всему. Для этого мы хотим создать особую группу добровольцев. Я верю, что, как и всегда, коммунисты и комсомольцы будут первыми. Но предупреждаю, что требуются не только отличные солдаты, но и отличные пловцы, и~ даже альпинисты. Вон та гора — Меловая. — И он указал вдаль, где на то^л берегу возвышалась гора. — Меновая — первая точка, которую мы должны будем взять, закрепиться на ней и, господствуя над окружающей местностью, огнем прикрывать остальных переправляющихся... Добровольцы есть? Два шага вперед!

Когда командир роты связи старший лейтенант Горохов шагнул вперед, он увидел, что вместе с ним решительно вышли из строя Антопов, Герман, Захарин, Черновол, Бениашвили и работник дивизионной газеты Сергей Деревянкин. А люди все выходили и выходили из строя.

...Отобрали девять лучших, отобрали, взвешивая и учитывая все: характер, выносливость, умение плавать, преодолевать горные преграды. Комиссар Мурадян Виктор Асланович с радостью думал, что в этой первой штурмовой группе и русские, и армяне, и украинцы, и грузины, и татары. Полный интернационал. Представители многих народов слились воедино, чтобы первыми начать штурм и освобождение донской земли... А почему не видно среди добровольцев Чолпонбая Тулебердиева? Он отличился и показал себя позавчера молодцом. Не был ли ранен? Всякое может быть... Такой славный парень. Да и какой очерк о нем написал Деревянкин. Этот, с дивизионной газеты...

И тут, когда батальону уже разрешили разойтись, Мурадян увидел фигуру молодого киргиза, рядового Чолпонбая Тулебердиева. Тот, раскрасневшийся, с обиженным лицом, бежал к командиру отделения сержанту Захарину.

Точно отлитый из одного куска металла, он отдал честь.

— Товарищ командир отделения, разрешите обратиться к командиру взвода, — прозвучал его почти оскорбленный голос. И узкие, чуть надломленные у концов брови сошлись на переносице.

— Разрешаю, — быстро отозвался Захарин, не очень поняв, почему так официально: ведь они же — друзья.

— Товарищ командир взвода! Разрешите обратиться к командиру роты! — тем же голосом, но еще более настойчиво начал Чолпонбай Тулебердиев, когда встал перед высоким младшим лейтенантом Германом.

Умные, большие, чуть печальные глаза офицера на миг недоуменно вспыхнули и улыбнулись. Он осмотрел солдата с ног до головы и подумал: боец как боец. Ничем вроде от других не отличается. Скромный, внешне спокойный. Вот только глаза какие-то особые — добрые, лучистые и очень зоркие. Ничего не ускользает от них. И смелый очень...

— Разрешаю!

Чолпонбай помчался к командиру роты, обогнал его на несколько шагов, повернулся, подошел строевым:

— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться к командиру батальона.

Антопов, любящий Чолпонбая и старавшийся во всем содействовать этому парню, который сам помогал всем, чем мог, остановился.

— Очень нужно?

— Очень!

— Обращайтесь.

От командира батальона Тулебердиев направился к комиссару полка.

— Товарищ майор! За что так обижать? За что? — В голосе слышался упрек и какая-то внутренняя боль.

— Кого, товарищ Тулебердиев? Да опустите руку. Вольно! Опустите руку, говорю. Чем вы обижены и кем?

— Я же после смены спал — на посту ночью стоял. А меня не предупредили, не подняли. В строю я не был, когда вы говорили...

— О чем?

— О добровольцах, товарищ майор! Очень прошу!

— Поздно, Тулебердиев. Уже отобрано необходимое число солдат...

— Потому к вам и обращаюсь, товарищ майор. Несправедливо это. Неправильно. Я же клятву давал.

— Но ведь нужны пловцы, хорошие, очень сильные, очень выносливые.

— Я плаваю хорошо! — не задумываясь, похвалил себя Чолпонбай, хотя в Киргизии плавал мало. Но тут он усилием воли отстранил воспоминание о своих немногих коротких заплывах, чтобы смущением не выдать себя. И снова торопливо заговорил: — А по горам я в Тянь-Шане натренировался. Поверьте, очень прошу. Или если мне еще комсомольского билета не выдали, то и доверять нельзя?

Тут Чолпонбай действовал наверняка: ведь только вчера их приняли в комсомол, и волнующая сцена вспыхнула перед ним, но он погасил ее, потому что ему важно было не пережить это волнение снова, а добиться того, без чего он не мог успокоиться. Ход с комсомольским билетом подсказала ему интуиция. И это решило дело.

— Хорошо, я поговорю с командиром полка, попрошу за тебя! — пообещал комиссар.

## II

Судя по всему, ночью, перед самым рассветом, в районе Селянного группа под командованием старшего лейтенанта Горохова должна была начать переправу через Дон. Начать умно, бесшумно и быстро.

Дзоты и блиндажи, множество траншей и окопов, ряды колючей



проводами, противотанковые и противопехотные мины — все это было на том, вражеском. Все оцетинилось, все ждало своих жертв...

Благодаря данным разведки наше командование нащупало наиболее уязвимое место в' самом, казалось бы, недоступном районе — у Меловой горы.

Сюда, на другой берег, скрытно перегруппировав свои силы под самым носом противника, ночью наше командование перебросило целую стрелковую дивизию.

Выделенные штурмовые группы должны были устремиться через Дон вслед за первыми добровольцами.

Пока артиллеристы засекали и уточняли огневые точки противника, а танкисты изучали местность, группа добровольцев, командиром которой назначен старший лейтенант Горохов, в глубокой тайне готовилась к переправе. Раздобыли, спустили в воду и замаскировали рыбацкие лодки. В плащ-палатки запихивали сено. Получились своеобразные плотки. На них сверху можно положить оружие, боеприпасы, но, кроме всего, эти необычные сооружения могли выдержать и человека.

Горохов и вся его группа внимательно рассмотрели в бинокль место высадки. Метр за метром изучали подступы к Меловой горе. Сузив глаза, внимательно глядел за Дон и Чолпонбай. Все видели, все подмечали его острые глаза, словно бы он уже в лодке переплыл через Дон.



Затаился в пойме... Начал подниматься по тому уступу. Нащупал ногой выбоину, подтянулся, ухватившись за куст. Встал на кривой камень... А потом — чуть в сторону, наискосок: там можно будет оглядеться. Ведь дзот справа, в расщелине. Замаскирован. И в бинокль не разглядишь... Не сразу увидел его, этот холмик свежей земли, покрытый жухлой травой. Не видно никого. Нет и движения, словно правый берег вымер. Но не дураки же немцы, чтобы обнаруживать себя и свои дзоты...

Дзоты или дзот?

Горохов именно эту тропку, этот дзот наметил Чолпонбаю. Но вдруг там, за камнем, может, еще дот или дзот? Всего в бинокль не увидишь. Да и свет в глазах дрожит от напряжения. Но чудится, что ли: синеватый дымок вьется там, и птицы почему-то не садятся около этого камня... Ни разу не сели около этого камня. Что бы это значило? Не там ли этот злосчастный дзот, который огнем сможет отсечь дорогу нашим? Если мы возьмем его, то наш путь будет расчищен...

В окопе рядом с Чолпонбаем наблюдал за противником и Сергей Деревянкин. Он старался держаться как можно спокойнее. Сергей знал, что произвольное движение, жест, неосторожное слово могут уличить его, раньше времени выдать то, что он хотел бы скрыть, оставить в тайне. Так будет лучше ему, Чолпонбаю...

А сердце билось чаще, губы пересыхали, волосы поднимались и, кажется, приподнимали пилотку. Какое-то странное оцепенение сковывало руки и язык. То, что лежало в нагрудном кармане гимнастерки, весило так много, что Сергей с трудом мог произнести слово. Деревянкин тоже глядит туда, где поднялась клыкком в небо Меловая гора. Отсюда она кажется черной.

— Что вздыхаете? Что вас не пустили? Жалко, конечно, что не в первой группе. Ну так в третьей будете. Все равно ведь вместе пойдём...

— М-да, — неопределенно промямлил Сергей.

— Ничего, друг, там, — Тулебердиев махнул рукой за реку, — встретимся. Вместе будем, да?

— Да, — снова уклончиво ответил Деревянкин, не взглянув в глаза товарищу.

В голове вертелось одно и то же. Рано умер отец Чолпонбая, всю заботу о семье взял на себя Токош— старший брат. Он заменил Чолпонбаю отца. Воспитывал его, защищал, кормил, выхаживал, когда тот болел. Разница в возрасте была небольшая, всего несколько лет. Но младший брат не то что любил старшего, а просто преклонялся перед ним, считая его (как и многие в ауле) человеком особенным, рожденным для большой и славной жизни. Об уме Токоша, о его честности и справедливости шла добрая молва. И пожилые не считали для себя зазорным посоветоваться с ним. А его доброта, сердечность — им нет конца...

Сергей опять вздохнул. Он переписывался с Токошем. Дружил с ним заочно. Токош, воевавший на другом фронте, часто писал Сергею, горячо интересовался братом, давал дельные советы, помогал ему понять характер Чолпонбая. Он, например, открыл ему, Сергею, что Чолпонбай с детства мечтал о подвиге, но об этой мечте знал один Токош. Словом, присил приглядывать за ним.

И вот уже несколько дней в кармане Сергея лежит письмо из воинской части, от командира роты: «Товарищ политрук, обращаемся к вам, как к другу рядового Токоша Тулебердиева и его брата Чолпонбая. В бою под Ржевом рядовой Токош Тулебердиев до конца выполнил свой долг солдата. Из противотанкового ружья он уничтожил два танка противника. Раненый не оставил поля боя, вторично раненный в правую руку, левой продолжал бросать гранаты. Пал смертью храбрых. Мы нашли в его вещмешке письма и ваш адрес. Вам и пишем. Просим обо всем сообщить его брату. На родину Т. Тулебердиева мы послали письмо с указанием места захоронения. Скорбим вместе с вами. Мы отомстим врагу за нашего общего друга. Ст. л-т. Кругов».

Сергей знал наизусть это короткое письмо. Сейчас, лежа в окопе и наблюдая за другом, он пропустил мимо ушей слова Чолпонбая: «Брат что-то не пишет... То через день, а то... ничего не понимаю... Уж не случилось ли с ним чего?»

Хорошо, что Сергей часто вот так просто приходил «в гости» к дру-

гу. И Чолпонбай в этом приходе ничего не видел особого, он ничего не подозревал. Но сегодня он пришел, чтобы решить: показать письмо или подождать? Подождать? Но для чего? Показать? Но зачем? Ведь такую потерю перенести нелегко, а тут еще перед ночной схваткой.

«Ну так сказать или нет? — тревожно думал Сергей. — А какое, собственно, право я имею скрывать это? Какое? Право друга, оберегающего... От чего? От правды, хотя и страшной правды? Мама учила меня поступать с другими так, как я хотел бы, чтобы поступили со мной... Ну как бы я хотел? Прямо головоломка... Подготовить бы его! Да, наверно, постепенно надо подготовить, незаметно, исподволь».

— Вы что-то от меня скрываете? — вдруг неожиданно спросил Чолпонбай, отложив бинокль в сторону и по-детски ладонью протирая глаза.

— Откуда ты взял?

— Ниоткуда! Просто никогда вас таким не видел, — глядя прямо в глаза политруку, сказал Чолпонбай и отложил бинокль в сторону.

— Каким?

— Темным, как туча. — И Чолпонбай, шутливо сдвинул брови, показывая, как темна туча.

— Тебе просто так показалось.

— Вы уже несколько дней такой... Будто потеряли близкого человека, брата потеряли. Я чувствую, что у вас сердце болит. Но почему со мной не поделитесь? Мы ведь ничего не скрываем друг от друга. А беду, если ее разделить с другом, так она вдвое меньше будет. Может быть, я чем-нибудь помогу?

Сергей чувствовал, как при каждом слове друга горло его сжимает невидимая, но цепкая рука. Он силился улыбнуться, но губы искривила гримаса.

— Неужели даже мне сказать не можете? С девушкой, с Ниной, может, что случилось?

Сергей развел руками, заново переживая то, что пережил несколько дней назад, распечатав письмо, извещавшее о смерти Токоша Тулебердиева.

На противоположной стороне раздался выстрел. Дрогнула земля. Чолпонбай поднял к глазам бинокль, и оба перевели взгляд на реку. Стали напряженно всматриваться в западный берег.

### III

Удивительна судьба военного журналиста! Столько нового, значительного видишь и познаешь каждый день, столько хороших людей встречаешь на жестоком фронтовом пути, что собственные переживания, собственная жизнь вроде бы и не в счет. Вроде бы и не живешь ты сам, занятый чужими судьбами. Да и разве чужие они, эти жизни

и судьбы? Видать, не зря говорят, что у журналиста не одна, а десять, сотни жизней и судеб. И впрямь, написать что-либо внятное о человеке можно только тогда, когда переживешь, прочувствуешь то, что пережил и прочувствовал он, другой человек. Каждый новый очерк — это чья-то жизнь, которая стала частью твоей жизни. Это чья-то судьба, чьи-то поступки и подвиги. И все это надо пропустить через собственное сознание, через свое сердце, через кровь свою.

И в этом смысле правду говорят, что порою встреча становится судьбой. Конечно, как ее понимать, судьбу...

Однажды зимой Сергей Деревянкин спешил в штаб стрелкового полка. На снежной, еще не очень разъезженной, но дважды разбомбленной проселочной дороге встретились ему молодые солдаты. Новобранцы только что прибыли из запасной кавалерийской дивизии, были все в новеньких шинелях и держались молодцами. Они были веселы и решительны.

Сергей, по своей всегдашней привычке все прибавляя и прибавляя шаг, чуть не бегом обгонял строй. Но на обочине споткнувшись о кусок тележного колеса, чуть было не упал и почему-то сконфуженно оглянулся.

На него с каким-то участием, очень по-доброму смотрели ясные, черные, благожелательные глаза. На секунду Сергей остановил свой взгляд на этом молодом, раскосом, скуластом парне. Только это лицо и увидел Сергей, будто бы и не было вокруг больше никого.

Позже он опять увидел этого парня, но уже в штабе полка. И снова отметил, какие выразительные у него глаза, излучавшие хорошее настроение и доброе расположение духа.

У Сергея тогда было задание написать об отличившихся бойцах второго батальона, который только что выбил немца из деревеньки, куда его и направили. Уточнив дорогу, он заторопился к месту недавнего боя. Шел и все время вспоминал почему-то широкоскулое загорелое лицо, ясные черные глаза случайно встреченного солдата.

Давно ли и сам, он, Сергей, таким же юным учился в военно-политическом училище в Житомире? Давно ли бережно хранил номера «Пионерской правды», где были (центральная пресса!!!) помещены две его заметки и двенадцатистрочное стихотворение о Пушкине? Давно ли? А как потом с двумя кубарями в петлице был комиссаром разведроты в танковой дивизии, выходил на тактические учения? Как восторженно читал он ночью в Перемышле стихи Пушкина, в ту самую ночь, когда началась война! И как тогда, в первый же день войны, за какой-то огромный непреодолимый барьер было отброшено далекое босоное и голодное детство, работа в районной газете, куда его почетно пригласили, как способного селькора. И только ясно всплыли в памяти слова редактора районной газеты Феофана Евдокимовича Козырева. Он знал отца Сергея, воевал с ним, хорошо помнил его и сказал, что Сергей очень похож на отца. А отец Сергея, неграмотный мужик, был



человеком смелым в бою... В первую империалистическую имел «Георгия». После Октябрьской революции сразу же вступил в ряды молодой Красной Армии. Стал советским командиром, в боях против Деникина под Воронежем был тяжело ранен и вскоре умер, не успев получить положенной за храбрость награды уже от Советского правительства.

...Сергей шел по вечеряющему молчаливому лесу, удивляясь необычной тишине и тому, что не встретил никого. По мере приближения к деревне он все острее, просто физически чувствовал подстерегающую его беду. Может быть, поэтому и не сразу вошел в деревню. Перед тем как выйти из леса, он предусмотрительно (война научила этой осторожности) остановился и долго рассматривал улицу, совсем близко подступавшую к обожженным деревьям.

Было тихо и пустынно. Ни голоса, ни серой солдатской шинели. Вообще никого. Очень сторожко, от дерева к дереву начал Сергей приближаться к деревне, уже совсем успокаиваясь и поругивая себя, если не за трусоватость, то уж, во всяком случае, за то, что нервы рашалялись. Вот он шел уже вдоль подлесной улицы. По-прежнему вокруг было тихо. И опять подумалось: «Чего это я заосторожничал?» И бодро зашагал напрямик через огороды к домам.

И тут, когда он совершенно успокоился и своим быстрым шагом вступил в деревню, в вечерних сереньких сумерках у самой большой избы, четвертой справа, увидел он немецкую грузовую машину с откинутым задним бортом и гитлеровцев — живых, здоровенных, невредимых. Они передавали из рук в руки какие-то ящики и весело переговаривались.

Сергей опрометью кинулся к лесу...

А тем временем командир полка отдал распоряжение отправить в эту деревеньку новобранцев, среди которых находился и Чолпонбай Тулебердиев. Тот самый молодой киргиз, на которого обратил внимание Сергей, когда спешил в деревню. Сообщение его о замеченных немцах было неожиданным. Это вынудило командира полка отменить свое приказание, хотя и обидно было признавать, что немцам удалось потеснить второй батальон и закрепиться в только что отбитой у нас деревне.

Вот с той поры Чолпонбай Тулебердиев и считал, что его друзей и его самого выручил Сергей Деревянкин. И хотя сам Сергей скоро забыл об этом эпизоде и даже не сделал в записной книжке ни одной пометки, Чолпонбай не забыл ничего и привязался к политруку как брат. Ему, Сергею, первому и единственному, рассказал о любимой девушке Гюльнар и о брате Токоше, дал ему его адрес. Вот с той поры и завязалась между Сергеем Деревянкиным и Токошем Тулебердиевым оживленная переписка...

## IV

Чолпонбай и Сергей долго и молча смотрели на правый берег. Вернее, внимательно в бинокль смотрел Чолпонбай, а Сергей пытался представить себе, как воспримет его друг известие о гибели брата.

«Если мне так тяжело, то каково же будет ему? А если завтра, вернее, этой ночью перед рассветом что-нибудь случится со мной?.. Кто же тогда скажет ему? Нет, я должен, обязательно должен сказать правду...» — думал Сергей.

...Кажется, война сняла все заботы, кроме одной: быть хорошим солдатом-журналистом. Но сколько тревоги может уместиться в одном сердце, как рвется оно сейчас, при виде друга, который ничего не подозревает о беде, а ведь это вроде мины, подложенной на его пути. Даже не мины, а бомбы замедленного действия. Идут минуты, секунды, но сработает механизм — и всему конец.

Сколько атак повидал, не в одной побыл и вместе с Чолпонбаем, но вот эта атака, атака беззвучная, атака беды, не первая атака — она намного страшнее... Как выдержать ее? Как победить? А возможно ли вообще победить в такой атаке, в которой ты уже заранее побежден?..

И все-таки жизнь есть жизнь, Небо это, эти горы, лозняк, запах реки и чабреца... Запах земли в окопе... Довольно, довольно, а то и так Чолпонбай встревожился. Буду смотреть на реку, на Меловую гору.

Да, не первая схватка. А что ей противопоставить? Нельзя же так сдаться?! Чем укрепить себя и друга для новых других атак, в которых мы должны взять верх? Скажем, в завтрашней атаке... Может быть, мысль о том, как вел себя в бою Токош, до конца выполнивший свой долг, может, именно эта мысль, этот образ павшего, но не побежденно-го поможет и нам в нашей новой, грозной атаке...

Медленно поворачиваясь, заливаемая набегающими мелкими волнами, проплыла обугленная оконная рама. К ней, то прижимаясь, то отставая от нее, плыл обломок наличника... Потом показалось дерево. Вот оно все ближе, ближе, Это — береза, вырванная с корнем. Верно, вырвало взрывом. Еще остатки земли судорожно зажаты в скрюченных пальцах корней...

Камыш глухо шумит. Он точно машет прощально, тянется, клонится, как бы силясь уцепиться за ветви березы, за распластанные по воде пряди листьев, за эти скрюченные пальцы корней. Уцепиться, удержать, вернуть... Вернуть недавнее былое, покой этого Дона... Но сейчас, в августе 1942 года, этот покой неправдоподобно далек. И даже шорох камыша наполнен жалобой, упреком.

Камыш... Когда вслушиваешься в его шум, он как музыка — мелодичный, задушевный. Будто что-то шепчет, на что-то жалуется, грустит. Он, как и все живое, дышит, растет, имеет свои трудности и по-своему их преодолевает.

Камыш,, Нам, деревенским хлопцам, он знаком с детства.

Весной, проходя мимо заросших берегов речушки, мы наблюдали, как острыми белесыми стрелочками выходит он из воды, С каждым днем становится все заметнее, все выше и зеленее. Потом раздваивается — выпускает острые, как лезвия ножниц, листья. К концу лета его длинные, тонкие и гибкие стебли достигают человеческого роста, начинают «колоситься» и цвести, чуть склоняясь к воде, будто хотят напиться. Глубокой осенью, в конце уборочной кампании, часто жали его пожелтевшие, звенящие, как железо, стебли. Вытаскивали на берег, укладывали в тачанки и развозили по домам. Что с ними делали? Разное. Одни покрывали камышом хаты, другие утепляли коровники, третьи скармливали скоту, когда зимой кончался корм. Ну, а мальчишки вырезали из камыша «водяные насосы» и разного рода дудочки, свисточки, на которых, словно на свирелях, исполняли незатейливые мелодии песенок. Вечерами эти самодельные духовые инструменты присоединялись к голосистой гармонике, к гитаре, балалайке... Молодежь пела и танцевала.

Береза и впрямь замерла перед окопом, чуть-чуть развернулась, пытаясь выпростать листву из воды, дернулась и выронила из пальцев-корней остатки земли. Почти невидимый, почти неслышный всплеск. И круги по воде — до самого берега, до самого камыша.

— Такой цвет у березы, как у снегов на наших горах... Так и кажется, что это наши снега, наши горы вырваны войной с корнем и плывут, и плачут, и стонут... Чолпонбай отодвинул широкой ладонью автомат, будто оружие мешало ему в этот миг увидеть далёкую, родную Киргизию, знакомые с детства горы, свой аул, лица милых и родных ему людей...

Сергей Деревянкин как бы невзначай дотронулся до руки Чолпонбая. И ощутил сквозь побелевшую ткань выжженной солнцем и кострами гимнастерки тепло друга.

Августовская земля, серая от пепла, еще согревала, звала прижаться к ней, надолго прижаться и не покидать ее... А небо, странно безмятежное, лучилось, сверкало равнодушной лазурью, и на мгновение переставало вериться, что под этим, таким благополучным небом, по всему фронту бьют орудия, движутся танки, проносятся наши и вражеские самолеты. Гитлеровцы рвутся к Волге, к Кавказу, в Крым...

Сергей Деревянкин перевел взгляд с ослепительно неба на березу, стараясь запомнить черно-белые штрихи ее коры. Они, эти черно-белые штрихи, показались ему мелкими волнами, а потом вдруг вся река представилась поваленной березой, лесом его детства, его юности, его молодости. Он прищурился, потер глаза, потрянул головой. С трудом проглотил слюну и снова задумался...

Лес! Какое это чудо природы! Когда думаешь о нем, то перед тобою встают и могучий сосновый бор с уходящими в небо стройными колоннами-стволами; и веселая, ослепительно белая березовая роща — краса и гордость наших лесов (родные русские березы всегда излуча-

ют радужный свет, и оттого в лесу кажется просторнее); и хмурый, мшистый, задумчивый ельник; и кряжистые столетние дубы-великаны — основа нашего лесного хозяйства; и нежная, всегда нарядная — весной в белых цветах, а осенью алеющая своими плодами рябина; и великое множество самых различных пород лиственных и вечнозеленых деревьев — пихтач, бузина, липняк, лиственник... Целый лесной океан — дивная краса наша, сила и богатство человека, зеленое золото страны.

А сейчас он, лес, как и большинство живых существ, — в страшной беде. Его так же варварски, как и безвинных советских людей, уничтожают фашисты. Бомбы, снаряды, пули наносят ему смертельные раны. Его беспощадно уничтожают пожары — наиболее частые и зловещие спутники войны. Жалко смотреть на все это. Сердце сжимается до боли...

Вспомнилось Дервянкину мирное время, когда он работал в районной газете. Бывало, не дожدهшься воскресенья. С утра — ив лес. Как приятно дышать его чистым, прохладным воздухом, зачарованно слушать успокаивающий и уносящий куда-то в далекие миры шелест листвы и разноголосое щебетание птиц...

Безмолвный и покорный лес. Ты всегда верно служил и служишь человеку. Вот и сейчас, в дни войны, сколько у тебя «профессий»? Великое множество! Людей укрываешь от вражеского глаза, от воздушных бомбардировок, артиллерийских и минометных обстрелов, от зимней стужи и яростных осенних дождей. А сколько согрел ты солдат в надежных землянках, покрытых двумя-тремя накатами из стволов деревьев!

А лесные завалы?! Сколько раз они преграждали путь врагу, задерживали движение его танковых колонн. Леса — союзники и верные друзья партизан. Они чувствуют себя в лесу как дома; немцы же боятся углубляться в них: там из-за каждого дерева, из-за каждого куста подстерегает смерть...

Дервянкин снова как-то неловко повернулся и зацепил Чолпонбая. Тот встрепенулся и посмотрел на политрука. Он как бы впервые увидел его лицо, посеревшее, усталое от бессонных ночей и переживаний, лицо, на котором жили одни глаза.

— Странные у вас глаза, товарищ политрук! Очень странные: то прямо стальные, то темные, а сейчас вроде светлые. А ведь ничего не боитесь, знаю. Сколько раз в атаки ходили! Что сегодня с вами? Вы снова чернее тучи. Скажите?!

— Талантливый ты, Чоке, коль русский язык так хорошо освоил, Прямо поэт! — отшутился Сергей, потом достал блокнот и что-то по давней привычке стал записывать в нем.

Чолпонбай с уважением следил за быстрой рукой Сергея, за карандашом, выводившим строку за строкой, точно бегущим по невидимой тропинке и оставлявшим за собой четкий след.

Немало рассказал Чолпонбай о себе, а вот сам ни о чем никогда не расспрашивал Сергея. Не то чтобы стеснялся, но как-то всегда хотелось

самому рассказать о себе именно ему, Сергею. Чолпонбай еще тогда, на зимней снежной дороге, сразу выделил политрука Деревянкина. Этот журналист умел слушать людей так, что ты, не слыша его слов, улавливал ответные слова. Ты говорил о далекой Киргизии, а становился ближе он, Сергей — сын России. Он мог бы на минуту заглянуть в окоп, спросить фамилию, звание, номер роты и взвода, и все. Ведь заметки в дивизионной газете были очень короткими. Но нет, этот политрук ел с солдатами из одного котелка, да вот с ним, с Чолпонбаем, ел, спал в окопе, ходил в атаки, дважды заслонил его в штыковой, а после боя, когда все отдыхали, писал корреспонденции и бежал в редакцию, чтобы скорее снова вернуться в окоп.

Когда кто-то сказал, что трудно на войне солдату, Чолпонбай возразил: труднее политруку Деревянкину. И все во взводе с ним согласились. Они знали, что Деревянкин начал войну в первые же ее минуты, был комиссаром разведроты, на второй день получил ранение в голову, что нет добрее человека, чем Сергей Деревянкин.

— А Дон большой? Длинный? — вдруг спрашивает Чолпонбай и всматривается в медленно текущую реку, точно пытаюсь определить ее длину.

— Почти две тысячи километров.

Чолпонбай некоторое время молчит, потом, как бы про себя, печально проговорил:

— И всюду кровь. Знаете, Сергей, на заре мне кажется, что река вся окровавленная, что не вода, а кровь клокочет в ней.

Оба смотрят на Дон. На медленно текущую воду, как и на огонь, можно смотреть бесконечно.

И каждый — о своем. И все об одном и том же.

Он, Сергей, старается не думать о письме-извещении, о гибели Токоша и вспоминает свое село, деревенских мальчишек. Вот ручеек, который они запруживают, чтобы в накопившейся воде отмачивать коноплю. Мать одна, совсем одна. Отец-солдат воевал в гражданскую здесь же, на Дону, и пал в бою, пал где-то неподалеку отсюда. Говорят, под Касторной... Оно и правда: Дон насыщался кровью не одного поколения... А ведь даже четкой фотографии отца не осталось, есть нечто смутное, какое-то расплывчатое изображение. Мама хранит карточку, иногда достанет, посмотрит молча на стершийся снимок и снова спрячет. И с утра до ночи на ногах: точно можно одинокой с двумя сопливыми карапузами убежать от бедности и неграмотности. Все бегом, да бегом, все жалеючи детей, все сама да сама. Зимой около ее веретена телок стоит, вздыхает...

Мама, мама — великая труженица. Вышла потом замуж второй раз, появились новые братья и сестры. Стало в семье семь детей, а достатка по-прежнему не прибыло. Топал Сережка в школу в обносках, а чуть снег стаивал, и вовсе босиком. Лишь бы учиться. Тянулся к знаниям как к свету, как к воздуху, как к солнцу.

Видно, жажда знаний, таившаяся в сердцах неграмотных и забытых прадедов и дедов — земляков, наполняла и Сережу, бурлила в нем, склоняла его над книжками. Попробовал он и сам сложить несколько слов в строку и поразился созвучию стиха... Мальчишка еще не знал, что он повторял недавно слышанные стихи, а потом не заметил, как произнес строчки свои... Как-то попробовал описать свое село, крестьян, ставших колхозниками ..

Потом два года пропустил, не учился. Не в чем было ходить в пятый класс: семилетка была в соседнем селе — в пяти километрах. Если бы не поддержка учителя... Наведался он однажды к матери и говорит:

— Анна Николаевна, надо Сереже учиться: способный мальчик, обязательно надо,..

И здесь опять извещал силу слова Сережа. И мама, и отчим послушались учителя. Как-то обернулись, затянули ремень потуже, а кончил он семилетку. Мать часами просиживала за прялкой, ткала свое рядно, кружилась еще быстрее, лишь иногда приговаривая: «Лихоманка ты этакий». Может, она обращалась так к жизни или к неудачам своим, но детей не бранила, не била их. Сидя за самодельным станком, нет-нет да и поглядывала на Сережу. Гордилась, когда сельчане замечали:

— Башковитый парень растет. Смотри, чуть не до первых петухов над книжками сидит. Все с тетрадями возится, Грызет гранит науки...

Кто знает, может, потому, что мать так гордилась им, Сережа учился все лучше и лучше, даже реже стал лазить за антоновкой в чужие сады...

Деревянкин словно очнулся. Почему-то так сладко и свежо вдруг запахло яблоками.

— Антоновка, белый налив, — вслух произнес Сергей, а сам все думает и думает о родном селе, о матери.

И локоть Чолпонбая тесней прижимается к его локтю.

— Яблоки такие! Знаю! Токош их очень любит, — улыбается Тулебердиев, и узкие глаза его еще больше сощуриваются, излучая добрый свет. Он тоже в мыслях только-только был в детстве и еще не вернулся оттуда. Ведь власть детства над нами так велика, хотя и неосознанная, что мы не раз и не два возвращаемся к своим истокам, сами не постигая того, какими силами питают они нас...

Медлительен, почти недвижим Дон, глубока и холодна вода его. Вот он тихо и мягко тычется волной в берег.

А Чолпонбай видит горную речку, себя, мальчишку, и своих товарищей. Они возьтятся, стараясь положить друг друга на лопатки. Вдруг Ашимбек неловко шагнул, оступился, сорвался в горную речку. А та словно того и ждала: подхватила, понесла, поволокла к водопаду. Но Ашимбек быстро уцепился за камень, и все радостно закричали: «Спасен!» Однако радоваться было рано. Мощный поток снова увлек мальчика, еще быстрее поволок к водопаду. Ребята растерялись. Пришли в себя, когда увидели, как замелькали пятки Чолпонбая на прибрежной

тропинке, как он, все прибавляя шаг, словно тигр, ринулся в холодную воду бурлящей стремнины. И хотя плавал плохо — не струсил. Расшибая о камни до крови колени и локти, сумел за несколько метров до водопада подхватить тонувшего, захлебнувшегося уже товарища. Спасая, сам чуть не угодил в каменную бездну... Но не угодил! Уцелел! Зато потом ребята только его и выбирали командиром, когда играли в войну с басмачами.

И разве не пену бешеной горной речонки напоминала Чолпонбай пена, срывающаяся с губ коня, когда на скачках в районном или областном центре он, еще безусый юнец, оставлял позади себя прославленных джигитов!

И казалось, что облаком курчавится, подобно пене, отара овец. Их пасет он каждое лето во время каникул вместе с братом Токошем в горах... Серой пенистой волной переваливаются через горы эти живые потоки, а чуть выше белеет застывшая вечная пена снегов, и обнимают их альпийские луга. Зовут к себе горы, горные долины.

А когда отец, бывало, заводил песню, рассказывал о тяжком бремени байской власти, давившей дехкан, тогда и раздолье, и богатство родного колхоза виделись особенно четко и хотелось сделать что-то такое, чтобы всем-всем вокруг стало хорошо, стало еще лучше оттого, что есть на свете он, Чолпонбай.

Чудилось, что белизной снегов отливают глаза сокола. Чолпонбай садится на коня, берет сокола на плечо. И пружинят поля, горы, летят навстречу краски родной земли, сливаясь в радугу счастья, а он, молодой охотник, чувствует, что и сам как сокол на плече земли, и вот-вот взлетит. А сокол срывается с его плеча, догонял птицу, подлетал под нее, подталкивал, как бы подпирал на миг, потом выныривал вверх и, ударя под левое крыло, всаживал отлетный ноготь в птицу и мгновенно распарывал ее.

А охота на волков... Не думал, что так скоро придется целиться в живого врага, настоящего, еще более хищного, чем волк. Вслед за старшим братом Токошем ушел на фронт и он, Чолпонбай.

Еще больше сблизила его с товарищами солдатская форма. Он приобщился к могучему братству и радовался новым друзьям. Они согревали его, вдохновляли, окрыляли, делали стойким, смелым, мужественным воином Страны Советов.

Тишина... Такая обманчивая тишина, какая может быть только на фронте, на переднем крае. И вдруг разом, будто навывлет, прошла ее, прожгла пулеметная очередь.

А помнишь, Чолпонбай, июль 1942 года? Помнишь ли ты, Сергей Дервянкин?

Тогда, превращая день в ночь, а ночь в день, целую неделю потрясал землю и реку огненный смерч.

Винтовочные и автоматные очереди тонули в пулеметной пальбе, а непрерывный лай фашистских пулеметов захлебывался в вое артиллерийской канонады.

Итак день и ночь, ночь и день,  
Всю неделю,  
Целую бесконечную неделю,  
Реку расплосовывали трассы пулеметов, кромсали мины и снаряды.

На землю страшно было смотреть. Вся изъязвленная воронками, запыленная, обожженная, растерзанная, она стонала, но, как родная мать, щедро давала приют бойцам.

И когда гитлеровцы бросались на восточный, казавшийся им мертвым берег, он оживал, чтобы смертью ответить врагу за смерть наших солдат, за муки земли.

И снова бушевал огонь и металл. Потом на какое-то время берег затихал.

Так было до тех пор, пока немцы не выдохлись и не решили переключиться на укрепление «своего» западного берега. Вершины и склоны меловых гор, круто обрывающихся к реке, быстро обросли огневыми точками, как деревья птичьими гнездами.

И если раньше под огнем Сергей Деревянкин брал «интервью» у солдат в окопах, то теперь он и подавно почти не разлучался со своими фронтовыми побратимами, особенно с Чолпонбаем.

Пока немцы в предчувствии ответного удара укрепляли «свой» берег, наши накопили достаточно сил для броска через Дон. И на острие клинка, который должен был первым вонзиться в правый вражеский узел обороны, на самом острие, здесь, южнее Воронежа, в районе сел Урыв и Селявное оказался 636-й стрелковый полк. А в нем — девятая рота. И именно ей предстояло начать.

В девятой роте и служил Чолпонбай Тулебердиев.

Как-то в один из дней, незадолго до атаки, кто-то из бойцов, глядя на противоположный берег, вздохнул: «Сильны волки! Ох и сильны!» Чолпонбай, не раз певший друзьям в часы затишья киргизские песни, на этот раз завел такой разговор:

— Вот мне политрук Деревянкин дал как-то русские народные сказки почитать. Это очень душу успокаивает.

— Чолпонбай, да и нам он дает, приносит и газеты и книги. Не новость это.

— А я не о новости, а о старом хочу сказать. Слово знаешь маленькое, как муравей, но и муравей гору сворачивает. Вот слушайте киргизскую сказку,

— Чересчур издалека ты начал, Чолпонбай.

— Я рассказу, а вы не ищите грань у яйца — не придирайтесь к ме-

лочам, если я что не так передам. Дело не в форме. Мысль — вот главное.

— Ну давай, давай! — И все в траншее притихли.

— Вот ты сказал, что они волки. — И рука Чолпонбая коротким рывком указала на правый берег. — Правильно, волки. Так слушай. Пришел однажды фазан к замерзшей реке напиться. Нашел прорубь. Начал пить, а крылья ко льду примерзли.

«Какой лед сильный!» — крикнул фазан.

А лед отвечает:

«Дождь сильнее: когда он приходит — я таю».

А дождь ему:

«Земля сильнее: она меня всасывает».

Тут земля вступила в спор:

«Лес сильнее: он защищает меня от зноя и помогает сохранять влагу, корнями мою силу пьет».

Лес не согласился:

«Огонь сильнее: как пройдет пламенем, так от меня одни головешки останутся».

Услышал огонь эти слова и говорит:

«Ветер сильнее: он меня может погасить».

Ветер вздохнул:

«Я и лед могу гнать по реке, и песок тучей нести, и деревья с корнями выворачивать, и пожар погашу, а вот с маленькой травинкой мне не справиться. Травка против урагана устоит. Ей хоть бы что! Она сильней!»

Трава только головкой покачала:

«Вот придет баран и съест меня. Баран всех сильней».

А баран с горя чуть рога в землю не воткнул:

«Смеетесь надо мной: волк покажется — и нет меня. Вот видите, волк, волк всех сильней».

Тут вылез из своей берлоги серый волчище и только хвостом махнул:

«Есть, есть сила посильней моей: она и фазана поймает, и лед растопит, и дождя не боится, и землю переиначит, и лес, захочет — срубит, захочет — посадит, и огонь, захочет — разожжет, захочет — погасит, и ветер себе подчиняет, и травку скосит, и шашлык из баранины сделает, и с меня, волка, шкуру сдерет. Это сила — человек. Выходит, человек всех сильней».

Бойцы сворачивали козьи ножки, собираясь закуривать и ожидая, к чему же клонит рассказчик. А его умные, в этот миг чуть лукавые глаза заблестели еще ярче. Он чуть помедлил и снова коротким рывком указал на совсем уже потемневший вражеский берег:

— Вот там волки, а мы люди, и мы — сильнее их. Сильней, потому что они, звери, чужое терзают, а мы, люди, мы свое защищаем. Вон слышали, как палят из дзота? Беспокоятся, боятся. Нужда их заставляет через голову кувыряться. Страх им житья не дает. Страх за награбленное и загубленное.



Зашуршали шаги, и в окоп спрыгнул политрук Деревянкин, поздоровался, улыбнулся.

— Ну, здесь надежные люди! — окинул он взглядом бойцов, каждого из которых знал в лицо, по имени и по тому горестному тяжкому пути, который прошли вместе. — Надежнее нет таких людей.

— Да, пролетевший ветер лучше ненадежного человека, — ответил за всех Чолпонбай, принимая из рук политрука свежий номер «дивизионки».

Получив газету, он кивком головы пригласил остальных солдат придвинуться поближе, подумал о том, что политрук всегда точно описывает события в роте, потому что сам участвует во всем. Да, во всем, даже в боях... Хотя он не обязан лезть в каждую заваруху. Он правдиво пишет обо всех, ни разу еще не сказав ни слова о цене каждого добытого им на передовой слова... И ничего с ним не случается, словно его звание — политрука и журналиста — броня от пуль, от осколков и даже от усталости, словно он просто неуязвим, и пули облетают его, и смерть сторонится... Не оттого ли это он столько раз разминулся со смертью, что слишком быстро бросался ей навстречу, или оттого, что каждый раз думает о других?..

«Он идет в бой рядом с простыми смертными. И он расскажет о каждом так, как это было на самом деле, как того каждый заслуживает. Не прибавит, не убавит. Но о нем никто ничего не расскажет. Никто его не отметит. Он журналист...» — размышлял Чолпонбай.

Старики киргизы на горных пастбищах толкуют: «Прошлого не вернешь, умершего не оживишь». А правильно ли это — о прошлом? Нет! Можно это прошлое оживить, да и без твоей воли оно живо, оно стоит перед тобой и сейчас, когда держишь в руках дивизионную газету, видишь недавнее бывшее так, точно все это происходит сию минуту. Это сейчас вроде спится, так глубоко спится после ночного перехода под проливным дождем, после непрерывных артолетов. И в сон врывается низкий гул моторов и крики:

— Тревога!

— Десант!

— Немцы!

Все стремительно вскакивают. Хватают оружие, заряжают его и занимают удобные позиции...

Было это в июле сорок первого. Какое слепящее солнце! Каждая росинка на листьях деревьев, как маленькое солнце, сверкает, режет глаза, отражается от росной поляны, от ярких листьев. Над деревьями мягкие дымки взрывов. Вспыхивают раскрывающиеся парашюты, а вдаль уносятся тяжелые транспортные немецкие самолеты. Вот на повороте солнце выхватило крест на фюзеляже, и взгляд уже схватывает фигурки, все укрупняющиеся по мере приближения их к земле. Вспыхивают раскрывающиеся парашюты. Видно, как один из парашютистов подтягивает стропы и быстрее других спускается на поляну.

Все это происходит в несколько мгновений. Кто-то сует Чолпонбау в руки винтовку. Это Сергей — сам он с симоновской полуавтоматической.

— К поляне! — приказывает он, и солдаты, ведя огонь на бегу в стреляющих в них с воздуха вражеских парашютистов, бросаются к поляне... — Отрезать подход к селу, взять в кольцо лес! — слышится команда.

Это уже не голос политрука, но кажется, что это он.

Один парашютист!

Два!..

Десять!..

Сорок!

Шестьдесят!

Сколько их, черт возьми?!

Все вокруг потемнело от этих десантников. Стреляет небо. Небо черное-черное, без облаков, без глубины, без солнца. Небо стреляет... В ответ стреляет и земля. Бьют наши автоматчики. Пулемет пытается достать десантников еще в воздухе. Два наших танка разворачиваются и мчатся к лесу. Все приведено в движение. Все стреляет, грохочет, гудит...

Немецкие парашютисты действуют слаженно, бьют точно, маневрируют стропами и, приземлившись, тут же кидаются в бой. Рослые, плечистые, как на подбор, они смелы и стремительны: видать, прошли большую школу, имеют богатый опыт разбоя.

Кажется, что не успевают они прикоснуться к земле, как уже сбрасывают лямки с парашюта и смыкаются в группки. Рассредоточиваются вдоль опушки. Прячутся за деревьями и ведут огонь. Он страшен, этот огонь.

Раскинув руки, зашатался и осел взводный. Около тебя падает, как срубленный, твой земляк. Падают запертво и другие.

Пуля сразила ветку — тонкий прутик, тот самый, от которого ты, словно предчувствуя беду, только что отодвинулся на самую малость. Под твоим подбородком пронеслось пламя, и тут же в ствол ближнего дерева вонзилась разрывная пуля.

Вжимаешься, втискиваешься в землю, в какую-то выбоину. Будто вырастаешь в нее. А руки не слушаются. Винтовку не поднять. Все отяжелело, будто тело парализовано.

Но рядом тщательно целится и не торопясь стреляет Сергей Дервянкин, стреляет и не промахивается. Бьет точно! Тулебердиев мучительно борется с собой.

«Чоке! Чоке! Возьми себя в руки. Прикажи рукам поднять винтовку, прикажи глазам прицелиться, прикажи плечу не ерзать. Чоке! Рядом с тобой Сергей! Что подумает он, если увидит, как тебя сковал страх? Ты охотник, лучший в ауле стрелок!»

Чоке взглянул вперед. Хорошо, что руки уже вскинули винтовку, глаз

нащупал прорезь прицела, мушку, врага... Но пальцы, проклятые пальцы! Тот, что на спусковом крючке, — как чужой. «Целься, целься снова, медленно дави на спусковой крючок. Ведь ты столько был на охоте, столько стрелял — лучше всех поражал цели. И в запасной кавдивизии был лучшим снайпером. Чоке?!»

В эту секунду здоровенный рыжий детина, без пилотки, с засученными рукавами, тот самый, в которого целился Чолпонбай, заметил киргиза, молниеносно вскинул автомат. Миг, доля мига... но пуля Сергея Деревянкина оказалась быстрее.

Еще один за широким пнем. Ну! Есть! Раньше чем успел подумать Чолпонбай, палец его нажал на спусковой крючок, и поверженный враг свалился на его глазах, остался лежать на земле.

По скользкой траве, по мокрым сучьям и веткам, сбитым пулями, по глинистой земле бежали наши, уничтожая парашютистов, погибая, но не давая им вырваться из сужающегося кольца. Вперед! Только вперед! Однако к первой группе десантников примкнула вторая и остатки третьей. Фашисты залегли и образовали круговую оборону. Повели ожесточенную стрельбу.

А наши танкисты пока бездействовали, потому что гитлеровцы засели в такой чащобе, которая была недоступна для танков. Но вскоре их «вытащили», выкурили оттуда, и теперь все должен решить ближний бой. Ближний! Штыковой!

Чолпонбай увидел, как Сергей Деревянкин быстро выдвинул ножевой штык, как остро блеснуло плоское лезвие, как упали на самое основание штыка две капли росы, крупные, длинные, и слились в одну, растеклись, мирно светясь на раннем летнем солнце.

Да, было солнце, была земля, был лес, была какая-то неразумная или разумная птаха, певшая несмотря ни на что. Была жизнь, а через несколько секунд надо будет оторваться от земли...

Он глянул на Сергея и не узнал. Его волевое лицо с острым выдвинутым подбородком казалось каменным, застывшим. Только глаза, не синие и добрые, как обычно, а стальные, точно летящие к цели, чтобы поразить ее, эти пули-глаза вобрали в себя и напряжение боя, и ненависть, и солдатскую решимость.

И вдруг лицо его сморщилось, рот раскрылся и совсем некстати, как-то глупо, беспомощно Сергей чихнул. На секунду Чолпонбаю стало даже смешно.

Сергей чихнул еще и еще раз, и Чолпонбай услышал, как он сквозь зубы, то ли оправдываясь перед собой, то ли объясняя ему, проговорил:

— Простыл под дождем!

Раздается команда:

— В атаку!

— В штыки!

— Ура!

— У-р-ра! — прокатилось по рядам.

Первые крики «ура» еще не смолкли, а Чолпонбай уже хотел оторваться от земли, хотел... Но тяжесть, страшная, смертная, еще никогда не испытанная тяжесть придавила его, приплюснула к глинистой выбоине.

Вдруг вспомнилось детство. Вот также было трудно когда-то, когда он, Чолпонбай, спасая школьного товарища Ашимбека, сам едва-едва вырвался из горной речонки, уже кинувшей его к водопаду. Было трудно на коне во время скачек опережать самых первых, очень трудно было выжимать из себя и из коня последние силы. Трудно было и в школе на экзаменах. Но все это казалось сейчас ничтожной тяжестью перед грузом земли. Будто надо было не себя оторвать от земли, а землю, всю планету оттолкнуть от себя.

— У-р-раа! — снова раздался рядом голос Сергея, и вслед за этим кличем он поднялся и, пригнувшись, вынося вперед штык, кинулся туда, к лесу, вперед.

И точно невидимая струна натянулась и вырвала Чолпонбая из выбоины. Он метнулся и, обгоняя Сергея, почти не пригибаясь, побежал навстречу горячему ветру, против пуль, наперекор смерти...

— Ура! Ура!

Надо что-то кричать, надо чем-то себе помогать, поддерживать себя. Надо бежать вперед, вперед и вперед. Не сворачивая, не припадая к земле.

«Надо, надо, надо!»

Это же стучало в мозгу Сергея, который тоже не без труда поднялся и пошел в атаку. Ему, как и Чолпонбаю, казалось, что ноги словно налиты свинцом, что руки еле держат винтовку, что шаги его преступно медленны... Но это так казалось. На самом же деле он бежал первым, пока не опередил его друг Чоке! «Ах, черт возьми, какой парень, какой парень!»

Немцы сперва попятились. Некоторые даже сунулись в лес, но потом поняли, что спрятаться невозможно, и ринулись навстречу советским солдатам, стреляя на ходу...

Потные лбы, насупленные брови, ненавидящие глаза, немецкая непонятная ругань — все слилось, смешалось воедино.

Схлестнулись взгляды и дыхания, схлестнулись штыки и приклады.

Чоке поскользнулся и упал. Сейчас всадит в него штык вот этот слева.

Замахнулся.

Но, к счастью, рядом снова оказался Сергей: он оглушил врага прикладом. Тот рухнул на землю.

Этот поступок Сергея словно прибавил сил Чоке, он вскочил, и теперь они, уже не сговариваясь, прикрывали друг друга.

Пока они разделялись с этими двумя, остальные наши также не бездействовали. Одних парашютистов прикончили. Других, тех, что юркнули было в лес, взяли в плен.

Вот они собраны вместе: рослые, сытые, надменные. Нагло смотрят. Нагло молчат. Нагло отвечают.

— Вы в плену! Ведите себя как положено! — одергивает немцев кто-то.

— Это вы у нас в плену! — по-русски отвечает немец-лейтенант. — Вы в кольце! И ваша песенка спета!

Наглости их нет предела... И это понятно: война только начинается, и они действуют весьма самоуверенно. Так им внушили. Ну погодите же — не так запоете!

## VI

— О чем задумался, Чолпонбай? — спросил взводный лейтенант Герман, который неслышно появился у окопа. Повадка опытного разведчика отличала его сухую, длинную, подобранную и легкую фигуру. Внимательные карие глаза встретились с глазами Чолпонбая, потом скользнули по газете, зажатой в руке молодого солдата. — О чем?

— О прошлом. Подумал: сколько жеребенку ни бегать, скакуном не станет. — И Чолпонбай горько усмехнулся, вспоминая о том бое...

— Вырастет и станет скакуном, — серьезно возразил взводный, словно улавливая за этим иносказанием его точный подтекст.

А может, так показалось Чолпонбаю... Но в том бою взводный был справа, — заменил убитого пулеметчика, действовал гранатами и был неподалеку от Чолпонбая и Сергея Деревянкина. Он-то и крикнул первым: «Ура!» Первым и поднялся, оторвался от земли на правом фланге. Да, надежный взводный, надежные люди.

— А что ж, жеребенок вырастет?

— Да, товарищ лейтенант, конечно, жеребенок вырастет, только хочется, чтобы поскорее вырос...

— Много значит слово, — откликнулся и Сергей Деревянкин. — Как это говорится: у мысли нет дна, у слова нет предела.

Чолпонбай, довольный, улыбнулся: приятно, что его друг запомнил киргизскую поговорку, которую только один раз давно на политбеседе обронил он, Чолпонбай.

— Да, немало нужно лошадиных, а не человеческих сил, чтобы Дон одолеть и ту высоту взять... — проговорил взводный. — Но возьмем... А пока присматривайтесь. Товарищ политрук, вы к нашему командиру роты не собираетесь?

— Нет, я уже у него побывал. Мы тут с Чолпонбаем потолкуем.

И вот они снова вдвоем. Гибкая ветка лозы над окопом. Жужжат и больно жалят осенние мухи.

Солнце перевалило за полдень. Стало пригревать.

Из котелка Чолпонбая подзаправились пшеничным концентратом.

— Мы сконцентрировались на фронте на этом концентрате, — пошутил Сергей. Потом поблагодарил друга, вытер ложку, спрятал ее за голенище и достал планшет. Раскрыл, вытащил треугольник письма, развернул его, пробежал глазами. Начал читать со второй страницы про себя;

«...А еще, Сережа, я часто вспоминаю нашу предвоенную жизнь и тебя, твою газетную работу. Это сейчас война разметала нас по разным фронтам. Но и вдалеке от тебя, работая в госпитале, каждый раз, когда прибывают раненые, почему-то напрягаюсь, точно вот увижу тебя. Недавно в шестой палате лежал у нас подполковник Козырев. Он-то мне и порассказал о тебе. Ты помнишь, он же был редактором нашей районной газеты. И так тесна жизнь и узка война, что встретились, и я узнала кое-что о твоём характере и о тебе. Не бойся, ничего плохого. Даже, скорей, хорошее. Ведь он, оказывается, с твоим отцом в одном отделении был и в первую войну, и в гражданскую. Козырев-то и сказал мне, что выдержкой, неутомимостью и (только не зазнавайся) смелостью ты похож на отца и внешне — копия. Так что зря ты, оказывается, жаловался мне, что нет у тебя фотографии отца. Возьми зеркало, посмотришь и увидишь. А еще он мне говорил, как ты по несколько раз переписывал заметку. Как он однажды взял все шесть вариантов одной заметки о весеннем севе и говорит:

«Сергей, одно и то же ведь».

А ты ему:

«Нет, не одно и то же. В этой предложении короче. Здесь меньше сложноподчиненных предложений. А тут междометия восторженные убраны. Четче начало. А вот в новом варианте завязка и кульминация более логичны».

Веришь, Сережка, Козырев даже рассмеялся от удовольствия, вспоминая:

«Над заметкой, как над рассказом, работал, шлифовал без устали. Вот как вырабатывал стиль. Так в той, которую он предложил в номер, я запомнил надолго, кончил последний абзац одним словом: продолжается. Это значит — сев продолжается. И поставил многоточие. Пустяки как будто. А мне запомнилось. Я карандашом подчеркнул много-



точие и плечами пожал, а твой (мой! мой! мой!!) Сергей и замечает: помните, как Флобер встречал молодого писателя: «Что делаете?» — «Да вот за эту неделю две новеллы написал. А вы, господин Флобер?» — «А у меня в одном предложении запятая есть, хочу ее перенести ближе к концу...»

Через неделю опять встретил Флобер того же писателя: «Что делаете?» — «Еще две новеллы написал. А вы, господин Флобер?» — «А у меня, помните, я вам говорил, была запятая, которую хотел я перенести из начала предложения в конец. Так вот, я решил оставить ее на прежнем месте».

Тут этот Козырев так хорошо посмотрел на меня и говорит:

«Повезло вам с Сережей. Если поцадит его пуля, то настоящий журналист будет, а то, глядишь, и до писателя дорастет...»

Вот, дорогой мой, товарищ политрук, смотри, чтобы тебя пуля поцадила, чтобы ты стал журналистом настоящим и дорос до писателя. А кем, кстати, собирается быть твой друг Чолпонбай? И жив ли он? Не ранен ли? Видишься ли ты с ним? Не обидится ли он, если я попрошу у него адрес его девушки — Гюльнар? Мне хочется переписываться и с нею. Кончится война, соберемся. все вчетвером... Мне так хочется увидеть их обоих. И Токоша. И тебя, конечно. Я тебя вижу часто во сне. Ты с большим-большим карандашом, почему-то незаточенным, пытаешься написать какую-то букву на узком треугольном листе картона, а карандаш не пишет, И ты мне говоришь: «Он пишет хорошо, это так, это пока не ладится. А после войны я напишу книгу»... Ну, милый мой, мне пора на дежурство. Я писала бы тебе бесконечно, но меня зовут дела. Надеваю халат, смотрюсь в зеркальце — твой подарок, вижу тебя, шлифующим заметку, мысленно целую и бегу в палату.

26 июля 42 г.

Твоя Н. Видишь, какая конспирация?..

Да, пиши не только заметки, но и мне пиши, можешь не шлифовать».

Пока Деревянкин перечитывал письмо, Чолпонбай вертел в руках газету, о чем-то раздумывал. Но едва Сергей оторвал глаза от треугольного письма, Чолпонбай, как бы между прочим, вздохнул с надеждой:

— А хорошая жена — половина счастья.

Сергей тут же взглянул на него, а он пояснил:

— Хорошая жена и дурного мужа сделает мужчиной, а дурная и



хорошего превратит в дурного. Так старики у нас толкуют. А ведь и вы думаете о своей, и я о своей Гюльнар часто, много думаю. Она мне такой беззащитной кажется, словно пули и осколки, летящие в нас, могут задеть и ранить ее... Странное чувство, правда?

— Нет. Я понимаю тебя. — И Сергей протянул свое письмо другу.

Чолпонбай жадно вчитывался, лицо его светлело, он заулыбался, точно живой голос услышал, льющийся девичий голос.

— Спасибо ей! После этого письма вы мне еще ближе стали и Гюльнар дороже... А ведь говорят, что нет любви!.. Я тут, на фронте, понаслушался всякого. И чем больше слышал, что нет любви, тем больше убеждался, Сергей, что есть, есть любовь...

— И с первого взгляда?

— Да... Только чересчур красное быстро линяет, чересчур горячее быстро остывает, чересчур жаркое быстро затухает. А у нас с Гюльнар как-то постепенно было: приглядывались, прислушивались. Стеснялись очень, да и сейчас я ее очень стесняюсь, а понимаю, что жить без нее не смогу. Только бы с ней там ничего не случилось. Глаза закрою, и вот она — в тубетейке, черными косами ветер играет, глаза счастливые. Гюльнар, Гюльнар...

Он привстал, крепко сбитый, мускулистый, широкогрудый, очень плотный и загорелый. Литым кулаком погрозил вражескому берегу, погладил ветку лозы.

— Знаете, Сергей, когда мы в запасном кавалерийском полку учились рубить лозу на скаку, мне жалко ее было. Точно я чувствовал, как ей больно. А наверно, и вправду всему живому больно, когда его давят, бьют, рубят. А лоза, она-то, конечно, чувствует. Вот лозу жалко, а этих волков, — его глаза потемнели от гнева, когда он опять устремил взгляд на тот берег, — этих волков не жалко! Помните сказку о том, кто самый сильный? Самый сильный — человек. Только надо быть сперва Человеком. Правда?

— Это понятие очень широкое, — задумчиво ответил Деревянкин.

— Ну да, а только помню, чувствовал я, что становлюсь им: и тогда, когда в кавалерийском запасном учились действовать клинком, и когда на скаку подхватывали со снега оброненную вещь, и когда стрелять учились на полном ходу. А погода была! Ветер! Снег прямо обжигал лицо — до того колюч. И как будто кто по ушам крапивой хлестал. Снег набивался за ворот, в рукава. А мороз так прихватывал, что порой ноги стремян не чувствовали. Знаете, Сергей, я ведь в горах да и на скачках узнавал и силу коня, и свою выносливость, но в запасном так доставалось, что казалось, из седла вывалишься. Вот глянь на снимок, — и он протянул фотокарточку, — одни мои скулы широкие только и оставались тогда.

— А не жаловался?

— Я? — обиделся Чолпонбай. — Я перед Гюльнар краснеть не собираюсь за службу... Нет!.. А еще потом гоняли нас — кавалеристов — как пехотинцев. «Пеший по-конному» — называлось это. По глубокому снегу не очень разбежишься. А стремительные перебежки делать надо? Надо! И делали! Ползешь по-пластунски, подбородок борозду в снегу оставляет. И в штыковую учились ходить. Получалось, постепенно стало получаться... Вы уж не сердитесь за тот штыковой, — как-то внезапно вернулся Чоке к тому первому бою с вражескими десанниками.

— За какой? — Сергей сделал вид, что не понял.

— Ну, когда я позже вас поднялся. Спасибо, что выручили, если бы не вы...

— Знаешь, хватит. Что нам, поговорить больше не о чем, что ли? И так я к тебе еле выбрался, а ты тут о чем... Ведь скоро, — Сергей зашептал, — очень скоро, думаю, поплывем на тот берег. Я уже заранее отпросился и у редактора и у командования, чтобы и меня взяли в первую штурмовую...

— Вот был бы с нами мой старший брат. Говорят, что я хорошо по горам хожу, а он куда лучше. А сильный какой! Какой смелый! Самые дорогие мне Токош и Гюльнар!.. Что-то от него писем нет.

Он присел около Сергея, взял в руки «Красноармейское слово», начал вслух читать:

— «Началось наступление главных сил группы армий «А» противника на Кавказском направлении. Сосредоточив на захваченных плацдармах на левом берегу Дона в районах Константиновской, Николаевской два танковых корпуса, противник повел наступление на Сальск. Войска Южного фронта оказались вынужденными вести ожесточенные и неравные бои с наступающим врагом. Создалась реальная угроза прорыва противника на Кавказ...

...Германское верховное командование перебросило основные силы авиации, действовавшей в Северной Африке, на советско-германский фронт.

...Продолжались напряженные оборонительные бои советских войск с наступающим противником на всем Южном направлении: в районе Воронежа, в большой излучине Дона и в Луганске.

...Объединенный Путивльский партизанский отряд под командованием С. А. Ковпака во взаимодействии с партизанскими отрядами под командованием А. Н. Сабурова нанес удар по гарнизонам противника в селах Старая и Новая Гута, Голубовка и других, Сумской области. Партизаны разгромили батальон противника, истребив 200 его солдат и офицеров, захватив 11 станковых ручных пулеметов, 6 минометов и много патронов...»

Всего месяц назад, когда обе редакционные машины, ускользнув от немецких бомбардировщиков, уже в третий раз пытавшихся уничтожить редакцию, когда Деревянкин, вооружившись наушниками, бумагой и карандашом, начал по рации принимать и записывать последнюю сводку Информбюро, — в это самое время Чолпонбай, посланный в редакцию с заметкой командира роты связи старшего лейтенанта Горохова, заметил, что вдали, где стояли большие стога, вспыхнули световые сигналы.

в смутной предвечерней дымке с четкой последовательностью дважды коротко вспыхнул свет, вернее, обозначилось световое пятнышко. Затем вспышки повторились — короткие чередовались с длинными.

Сперва подумалось, что кто-то закуривает. Но почему-то стало тревожно. От спички, зажженной в темноте, огонь вроде вспыхивает иначе. Если искру высеки кресалом, то опять же не похоже. Да и вряд ли на таком расстоянии можно увидеть искру... Неужели лазутчики?

Значит, не зря предупреждал взводный Герман. И при позавчерашней бомбежке, когда фугаской разнесло редакционную машину, Сергей тоже подозревал, что все это неспроста.

И, будто подтверждая опасения, усиливая их, снова — две короткие слабые вспышки, потом более длинные три. Значит: точка-точка, потом тире...

Чолпонбай стремительно влетел в машину.

Политрук Деревянкин сидел в ней с наушниками около рации, напряженно подавшись вперед, точно стараясь лучше расслышать, простым карандашом крупным быстрым почерком писал на гладком листе бумаги: «...бои шли южнее Воронежа. Несмотря на ожесточенные атаки, врагу не удалось продвинуться...»

Чолпонбай скользил взглядом по быстро бегущим строчкам, по названиям населенных пунктов, по цифрам сбитых фашистских стервятников и общих потерь, а в памяти за этими привычными газетными сообщениями возникали повороты проселочных дорог во всей их истерзанности, пылали деревни, горестно торчали остовы печей, скелеты железных кроватей, кружилось воронье, и хлопья густой черной сажки садились на руки, на автомат, на лицо.

Воспоминание буквально обжигало, стучало в висках, стискивало сердце. А тут, как назло, натруженно, порывисто ревя, над головой проносились «мессершмитты» — двухкилевые, с четко выделявшимися крестами на крыльях и на фюзеляжах, — летели бомбы, строчили бортовые пулеметы...

В редакционной машине, где потрескивали разряды в наушниках, картины недавних боев, взволновав Чолпонбая, вдруг отпрянули, растаяли. И он вспомнил слова Сергея: «Будет время, когда все это превратится в воспоминания... Будет такое время... И для этого нельзя терять ни минуты настоящего, чтобы скорее наступило грядущее...»



— Товарищ политрук, — почему-то официально обратился Чолпонбай, — лазутчики, мне кажется! Там, где стога...

Дервянкин мгновенно сбросил наушники, положил карандаш, сунул в карман листок с недописанной сводкой Совинформбюро, крикнул что-то шоферу Кравцову, и они — Чолпонбай, Кравцов, Алексей Бандура и Сергей Дервянкин — кинулись к далекому стогу, откуда опять раз за разом вспыхивал, пропадал, снова вспыхивал сигнал и снова пропал.

«Так вот почему так быстро налетали бомбардировщики, едва тылы дивизии располагались на стоянке. Значит, нас просто выслеживают, потом дают знать. Потеряли одну редакционную машину. А теперь угрожают и этой» — так думал Сергей, прибавляя шаг и вместе с тем стараясь незаметно приблизиться со своей группой к стогам. Потом стали подбираться по-пластунски.

Они были уже метрах в семнадцати от стога, когда кто-то с него просигналил фонарем.

Вот фонарь снова приподнялся над стогом. Чолпонбай не выдержал и выстрелил.

Фонарь разлетелся. В то же самое мгновение со стога саданула автоматная очередь.



Пулей сбило пилотку Сергея.

Он наклонился за ней, и это спасло его, потому что тут же просвистела вторая, и именно в том месте, где только что, сию секунду была голова Сергея.

Все трое припали к земле и, как условились, стали выкрикивать команды:

— Слезай!

— Бросай оружие!

— Сдавайся!

Со стога стали бить еще ожесточенней.

Совсем стемнело, и наши боялись, как бы, воспользовавшись темнотой, лазутчики не скрылись. Они стали окружать стог, и теперь с трех сторон полетели пули и крики:

— Бросай оружие!

— Сдавайся!

— Слезай!

В ответ грохнула граната.

— Чоке! — шепотом позвал его Сергей.

Но тот не услышал. Деревянкин подполз к нему ближе.

— Попробуй подобраться со стороны бурьяна. Мы с Бандурой отвлечем огонь на себя. Надо поджечь стог. Иначе их не взять.

Во тьме над стогом мелькнуло что-то, и Чолпонбай выстрелил.

Слышно было, как кто-то выругался по-немецки и как чье-то тело глухо плюхнулось о землю. И тут же резанули по нашим из автомата.

Чолпонбай быстро пополз к бурьяну. Все незаметнее становился он, и все острее разрасталась тревога Сергея. Только сейчас, когда друг его мог погибнуть, Деревянкин впервые со всей ясностью осознал, какое значение в его судьбе имеет Чолпонбай. Друг? Да, друг. Брат? Да, брат. Младший брат. И он, Сергей, отвечает за него. Не перед армией, не перед Родиной, а перед своей совестью. Сколько вложено в эту дружбу, сколько боев и переходов связали ее! Какое доверие! И какими глубинами, оказывается, обладает это чувство дружбы! Сам не подозреваешь в себе той щедрости чувства, смелости действия и самоотверженности. Не в том дело, что ты себе ясно представляешь и его Гюльнар, и Токоша, и его родных, и снежные горы, и коня, и сокола, хотя никогда не был в Киргизии. То, что принадлежит ему, принадлежит теперь и тебе: это и твоя Гюльнар, твой брат Токош, твои родные, твои горы, твой конь, твой сокол. И каждая боль, каждая опасность, подстерегающая друга, теперь и твоя боль, твоя опасность. И они усилены твоей тревогой. Вот оно, подлинное братство.

Чоке продолжает ползти к стогу, его уже не видно, но шорох слышен.

И вдруг трассирующая пуля прочертила яркую линию со стога к тому месту, где сейчас проползает Чоке. Одна пуля... И Чоке вдруг затих, замер. Замер или убит? Может, ранен? Чоке! Чоке!..

Мурашки ползут по спине... Что это? Неужели показалось? Шорох? Да! Слышен шорох, значит, жив! А сердце не отпускает. Ведь если заметили с такого расстояния, то что будет, когда Чоке подползет к самому стогу?

— Сдавайся! — И Деревянкин уже не раздумывал, лишь бы отвлечь на себя огонь, вскочил и, стоя, выстрелил два раза.

Прозвучал ответный выстрел.

Что-то обожгло правое бедро.

— Сдавайся! Второе отделение, зайти справа! Первое отделение, залечь у сарая! Третье отделение, за мной! — громко и четко выговаривая каждое слово, коротко отдавал Сергей команды несуществующим отделениям.

А сам тем временем, зигзагами бежал к стогу. Часто падал, отползал в сторону, мгновенно вскакивал и снова делал короткую перебежку.

Оттуда били по нему.

— Взять живым! — командовал Деревянкин.

Он подбегал к стогу под выстрелами, а сам думал о друге, боялся,

что его заметят. Когда огонек мелькнул у основания стога, когда пламя быстро начало карабкаться вверх, Сергей на какое-то мгновение не понял, вернее, не сразу поверил, что Чоке жив! Но в этом его убеждал огонь: он уже взметнулся ввысь, хотя в его свете фигуры Чоке еще не было видно.

И тут со стога в ту сторону, где еще не было видно огня, зловеще метнулась фигура. Едва незнакомец коснулся сапогами земли, как тут же кто-то сбил его с ног.

Сергей кинулся к месту схватки и увидел, как ловко Чоке скрутил лазутчика, вывернув ему руки, не давая дотянуться до ножа.

Две руки — рука лазутчика и рука Чоке — устремились к ножу.

Деревянкин на бегу нажал на спусковой крючок. Но выстрела не последовало: кончились патроны. И тут Сергей неожиданно споткнулся о тело убитого, упал.

Когда вскочил на ноги, увидел, что в руке лазутчика остро блеснул нож, тот кидается с ним на Чоке. Раньше, чем Сергей сообразил, что ему следует делать, его тело уже бросилось вперед, рука схватила у запястья руку лазутчика. Тот с силой вырвал ее, и нож вошел бы в грудь Сергея, если бы не подоспел верный друг Чоке. В бою так часто случалось. Вот и сейчас: взаимная выручка спасла жизнь друзей.

Нож отлетел в сторону. Вдвоем, а потом и втроем, с Алексеем Бандурой, они связали ремнем пойманного.

— А, черт возьми! — на чистейшем русском языке выругался лазутчик.

В свете пылавшего стога разглядели и его крестьянскую одежду, и его лицо, и сильные, загрубевшие черные ладони. На безымянном пальце правой руки блеснуло серебряное кольцо.

— Так ты... — Сергей не мог выговорить слово «русский». Не мог, потому что за многие дни войны, за долгие тяжкие дни отступления он сам первый раз своими глазами видел предателя.

Высокий, с очень выпуклой грудью, с выпученными глазами, остроносый и тонкогубый, лазутчик с презрением смотрел на Деревянкина, на Тулебердиева, на Бандуру. Смотрел так, будто он, предатель, был прав.

— Так ты... — и Сергей поперхнулся. — Как ты мог против своих?

Но тот в ответ лишь оскалился.

— Идем! — И они повели его.

Чоке шел с автоматом наготове справа. И когда предатель нехотя повернул к нему голову, он точно укололся о взгляд киргиза.

Стог пылал высоко, и пламя уже переметнулось на другие стога, ярко озаряя идущих. Во взгляде Чоке, в его сощуренных глазах было больше чем приговор.

...В редакционной машине Чолпонбай передал Сергею заметку, а тот полез в карман и вытащил залитый кровью листок с недописанной свод-

кой Совинформбюро: пуля задела бедро вкось, царапнула и испортила листок.

— Зря вы вскочили, когда стреляли, — как бы про себя заметил Чолпонбай.

Сергей улыбнулся:

— Между прочим, все это по твоей вине. Я просто вспомнил твои слова: «Чем умирать лежа, лучше умри стреляя». — И политрук быстро расправил намочший кровью листок. Ясно виднелось последнее слово, на котором оборвал он несколько минут назад свою запись. Это слово — «сражались...». — «Сражались», — вслух прочитал Деревянкин, стараясь вспомнить, что же следовало за этим словом, соображая, как ему быть дальше и что писать.

— Сражались, — совсем с иной интонацией повторил Чоке. — Сражаться надо. Мужчина должен сражаться! Смелее надо действовать, решительней, быстрее...

— Ты прав, друг.

— Армия — миллионы, предателей — единицы, — заключил Чоке. — Но даже если один... Все равно плохо! Ну ладно, давайте, товарищ политрук, рану перевяжу вам.

— Да это и не рана. Царапнуло просто.

И Сергей снова надел наушники, включил рацию и, экономя время, продолжал записывать очередную сводку о положении на фронтах Великой Отечественной войны.

## VII

«Сереза, милый! Пишу тебе под впечатлением твоего очерка о Чолпонбае. Я получила и эту вырезку из твоего «Красноармейского слова», и несколько твоих заметок о бойцах 9-й роты, о комбате Даниеляне, о командире роты Антопове, о командире роты связи Николае Горохове. Так что теперь я полнее представляю себе и окружающих тебя людей, и твою работу.

Мне понравилось, что в очерке о Горохове ты останавливаешь внимание на его спокойствии, цельности. А из приведенных тобою же фактов напрашивается вывод, что это еще и настоящий парторг, и, если хочешь, прирожденный вожак, прирожденный военный.

В одном из писем ты делился со мной мыслью о том, что и война требует таланта. И что есть люди, не имеющие высоких званий, но обладающие высоким строем души и какой-то интуицией истинного военного. Они оказываются там, где всего нужнее в данный момент, направляют свою горстку людей туда, где меньше будет потерь и вернее успех. Как ты чувствуешь по письму моему, я тебя не просто внимательно читаю, но и запоминаю, и даже почти дословно цитирую.

Здесь, в госпитале, часто, ежедневно, чтобы не сказать — ежечасно, слышу разговоры военных, их разборы столкновений, схваток, поединков. Так что я постепенно начинаю что-то понимать.

Ты как-то давным-давно, тысячу или больше лет назад, когда вышел из санбата после ранения в июне 1941-го по-моему, в августе, когда тебя перевели в газету, писал мне, что «дивизионки» — это летопись войны. Конечно, так оно и есть. Но я сужу и по нашей газете, и по вырезкам, присылаемым тобой, и мне кажется, что очень уж это скупая и однообразная летопись. А представь, что когда-нибудь, ну, через много-много лет, ну, скажем, году в семидесятом или восьмидесятом, обратится к теме войны молодой историк или исторический писатель (не знаю, можно ли так выразиться, но ты понимаешь меня). Так вот, захочет такой исследователь восстановить картину, атмосферу нашего времени, и нелегко ему придется...

Я бы не говорила так и не упрекала тебя, если бы не видела, что ты сумел о командире роты Антопове написать ярко, словно эта заметка — стихотворение. И конкретность, и окрыленность, и полет. Так же, но еще убедительней звучит (или читается) очерк о твоём друге Чоке. Ты с такой любовью пишешь о нём, и я, только не ревнуй, начинаю любить его. Тем более, что он, оказывается, дал мой адрес своей Гюльнар, и она мне прислала свою фотокарточку и письмо. Она снята в тибетейке. Косы густые-густые, глаза такие добрые и красивые, что я бы с ней, не задумываясь, поменялась бы своими. Даже по снимку чувствуется, какая она стройная. Наверно, у неё летящая походка. Ты даже как-то привел мне слова Чоке о ней: «Идет, словно плывет, нет, не плывет, а летит».

А письмо!

Ее письмо полно не одной любовью к ее Чоке, но и — берегись, коварный соблазнитель! — нежностью к тебе. Не знаю, уж чего ей понаписал о тебе Чоке, но Гюльнар просто соловьем разливается, когда речь заводит о тебе. Ей столько писал о тебе Чоке, что она думает, могла бы, будь художником, нарисовать «этого чудесного человека», голос которого ей «слышится все отчетливей».

Так вот, «дорогой чудесный человек, голос которого» и т. д., дорогой Сережка, когда ты пишешь о глубокой вере Чоке в будущее, о невозможности и самой человеческой жизни без этой веры, я чувствую, что ты делаешь большое дело, потому что сквозь сегодняшний день стараешься увидеть и многие будущие дни. Как хорошо ты написал, что «у рядового Чолпонбая Тулебердиева незаурядное сердце, и это проявляется в лучших его мыслях, в правдивости и самобытности речи, в искренности его поступков, в его щедрости, в том, что это все невольно воздействует на окружающих и создает высокую нравственную атмосферу готовности к подвигу и к свершению его без громких слов и без позы».

Что удивительно, так это совпадение твоего представления о Чоке

с образом его, встающим из письма Гюльнар. Она, описывая его детство, юность и последние дни перед уходом в армию, даже слова его, сказанные старшему брату, ушедшему раньше его на войну, невольно подчеркивает главную черту характера Чоке: постоянную готовность помочь другим, выручить, защитить слабых, даже если самому страшно, даже если самому больно и смертельно опасно.

Ну да ладно, Сережа, а то я столько тебе написала, что чуть не забыла сказать о своей шкатулке: это такой крохотный ящичек, вроде аптечки. В ней я храню твои письма и вырезки из твоих газет. То, что храню в бывшей аптечке, указывает, как ты, конечно, догадываешься, на лечебное, целительное свойство твоих писем. Поэтому помни, что чем чаще ты мне будешь писать, тем лучше «для моего здоровья» и «для здоровья наших отношений». Прошу тебя, сфотографируйся и пришли мне фото.

Сегодня у нас «легкий» день. Я «отгуливаю» за несколько чуть ли не круглосуточных дежурств. Вот почему «накатала» тебе такое бесконечное послание. Настроение у меня хорошее, я вправду часто слышу твой голос. Ты у меня самый лучший. И верю, что все задуманное случится...

Целую тебя. Твоя Н.

Июль 1942 г.»

Это письмо Нины Сергей держал в нагрудном кармане рядом с известием о гибели брата Чоке — Токоша... Когда он, в какой уже раз, пытался достать из кармана этот страшный листок, чтобы отдать Чолпонбаю, пальцы точно нарочно ошибались, сами нащупывали не тонкий треугольник, лежавший прямо у сердца, а другой, потолще, — письмо Нины. И Сергей радовался ошибке: он и сам еще не знал, хватит ли у него решимости сказать правду, всю страшную правду Чолпонбаю. Вот почему он перечитал еще раз письмо Нины, хотя ему все время казалось, что все ее слова предстают в ином, горестном свете известия о гибели Токоша...

Сергей поднял глаза на Чоке. Тот, отстранив бинокль, смотрел на реку, на ее неторопливое движение, на мерцание, поблескивание чешуйчатой воды, в которой безмятежно плыли пухлые облака. Чоке, захваченный красотой реки, забыл об уродстве войны, и в его лице проступило то выражение ясности, которым он привлек к себе Сергея с первой же встречи. Это выражение лица, как выражение души, сосредоточилось в глазах, больших, хотя и с чуть приспущенными, как бы прищуренными веками. И оно разительно отличалось от лица того же Чоке, нет, Чолпонбая, нет, просто бойца Тулебердиева, каким оно виделось и действительно было во время боя...

Деревянкину вспомнился другой бой. Тот бой весной 1942 года. Ранней весной, ослепленной огромными лужами, вдыхающей пары подсыхающих полей. Весной с черными блестящими грачами, косола-

по переступавшими через глубокие борозды, через осколки, грачами, гомонящими в гнездах...

Тогда на подступах к его родному Воронежу шли ожесточенные схватки с врагом. Сергею запомнилось, как, стоя в окопе, Чолпонбай кивком головы указал на срубленную снарядом ветлу. Почти у самого среза ютился скворечник. Около входного округлого отверстия виднелась дырка от пули.

— Даже в птиц наших стреляют! — покачал головой Чолпонбай. — Даже в птиц!.. Смотри! — И вдруг лицо его стало по-детски восторженным. — Живы! — Он потянул Сергея за рукав. — Живы! Кормит!

И правда, скворчиха спланировала на приступку, как на крылечко, в длинном клюве держа сизо-багрового червя: он изгибался, пытаясь, наверное, вырваться из плена. Тут Сергей и Чоке уловили писк птенцов. Увидели, как в чей-то раскрытый клювик перековывала материнская добыча. И скворчиха, презирая войну и все, что происходит вокруг, не задумываясь о своей безопасности, снова оставила «крылечко», плавное опустилась на землю и закопошилась под гусеницами самоходки, у самого ее трака сунула клюв в жирную землю, ничего не нашла, взмыла вверх и полетела дальше.

— И за птиц... — начал и остановился Чоке.

— Да, и за птиц, — продолжил Сергей, понимая, о чем хотел сказать его друг. — А жизнь идет! И нет силы, чтобы остановить ее извечную поступь. И когда-то будут новые весны, будет цветение, будут листья, будут яблоки, а войны не будет... Но не каждый доживет до этой счастливой весны. Кто-то должен навечно остаться здесь, чтобы приблизить эту весну — радостную весну человечества.

И когда на подступах к Воронежу вспыхнул бой, он пылал двое суток. Схватки шли за каждый степной холмик, за каждую рощицу, за каждый дом.

Теснимая мощными превосходящими силами, дивизия наша вынуждена была отойти, оставив для прикрытия девятую стрелковую роту.

Ушли ночью. А к рассвету командир роты Антопов так продумал оборону и так ловко расположил свой взвод младший лейтенант Герман, что первая же немецкая атака на самом рассвете захлебнулась...

— Зашатались! — торжествуя крикнул Чолпонбай.

— Зашатались, гады! — отозвался и Сергей Деревянкин.

Он и на этот раз отстал от редакционных машин, чтобы «вести репортаж с места боев девятой роты». Однако репортаж пришлось вести, взяв не карандаш, не ручку, а стиснув рукоятки «максима», заменив раненого пулеметчика. Почему-то, помимо его воли, когда Деревянкин стрелял по набегавшим гитлеровцам, ему почему-то вспомнились строки Маяковского: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо...»

Он стрелял, а эта строчка пульсировала в нем. И когда фашисты снова попятились, Сергей крикнул:



— И мы научились бить их, Чоке!

— Без ветра верхушка тополя не колышется! — отозвался Чолпонбай.

Он рядом отстреливался от наседающих гитлеровцев и торжествовал, видя, как их движение все замедляется, как они сначала залегли, а потом беспорядочно стали обстреливать их окопы.

Ему видно было, как по-хозяйски действует Остап Черновол, подерживая огнем Серго Метервели; как хитро Гайфулла Гилязетдинов то выныривает из траншеи, идущей вдоль высоты, сваливает одиночным выстрелом врага, и, пока пули взрывают землю в том месте, где только что мелькнула его каска, он уже стреляет из другой ячейки.

Чолпонбай тут же последовал его примеру, но сам он находился чуть выше, а траншея второго ряда вела ко рву, вернее, к оврагу, заполненному весенней водой.

Чолпонбай пробирался по траншее, когда немецкий истребитель про-

шел низко над высотой, развернулся и дал очередь по нашим окопам. Фонтанчики земли взметнулись от косо́й пулеметной очереди, пущенной с вражеского самолета.

Что-то звякнуло по каске. Что-то придавило ко дну траншеи, обескровило руки, отяжелело ноги.

— Большой дерево сильный ветер любит! — вдруг ни с того ни с сего закричал Серго Метервели, никогда не унывающий грузин. — А мы — большой дерево! Дай нам ветерка... Но только посеешь ветер, пожнешь бурю! Бурю! — И он метнул гранату. — Бурю! — Сорвал чеку со взрывателя второй гранаты и метнул ее еще дальше. — Бурю! — И третья граната грохнула и уложила двух гитлеровцев, ближе других подобравшихся к высоте.

Но Деревянкин уже заметил, что Тулебердиев как-то внезапно сник и лежит без движения.

— Чоке! — крикнул Сергей, пытаясь заглушить треск винтовок и автоматов, на несколько секунд прекратив стрельбу из пулемета. — Тулебердиев!

Черт возьми, оказывается, голос друга сильнее страха смерти: он может поднять, оторвать от дна траншеи. Оказывается, голос друга способен заставить приободриться, хотя кругом дзинькают пули, бушует пламя, то там, то здесь раздаются взрывы снарядов и всюду кровь...

— Я здесь! Здесь! Здесь! — И Чоке взмахнул над каской винтовкой.

И будто это не он только что вжимался в дно траншеи, вздрагивал при каждом взрыве снаряда, замирал, не помня ни о чем, кроме того, что его тело, словно магнитная мишень, притягивало к себе все пули. Не он! Нет, не он! Чолпонбай, как бегун, приобретший второе дыхание, теперь уже был спокоен, точен, нетороплив, Он прицеливался, выжидал, бил без промаха.

И когда гитлеровцы, захлебнувшись в своей крови, отхлынули от высоты, Сергей увидел, что больше всего поверженных врагов было перед тем окопом с невысоким бруствером, перед окопом Чолпонбая. Это увидели и остальные.

Пользуясь передышкой, наши пополняли боеприпасы, готовились к отражению новой атаки.

Взводный Герман и сержант Захарин, пробираясь по траншее, оставили Чолпонбаю запас патронов и две связки гранат.

— Может, развязать? — спросил Чолпонбай. — Ведь больше будет.

— Нет, — твердо сказал взводный. — Теперь наверняка могут они со стороны оврага, с самой пологой стороны, на танках прорваться.

Углубляли свои окопы, Бениашвили и Черновол. Тем же занимались и остальные бойцы.

Вскоре ударили вражеские пушки.

Вслед за артиллерийским налетом из густого леса выскочили и помчались на предельной скорости два фашистских танка. Один заходил с левого фланга, другой — со стороны оврага, стараясь по краю достичь высоты. За танками бежали пехотинцы. Несколько человек были на броне танка и ждали момента, чтобы ринуться на высоту.

Шквальный огонь наших бойцов встретил противника. Стреляли все, но окоп Чолпонбая почему-то молчал.

— Что с ним?

Сергей метнул взгляд в его сторону и не увидел друга. «Может, ранен или убит?»

— Почему молчит? — встревожился и взводный. Он выбрался из окопа, перебросил свое тело в траншею, ведущую к окопу Чолпонбая, и помчался что было духу.

А танки все приближались. Один, чуть замедлив скорость, начал подниматься на высоту и шел прямо на окоп Тулебердиева.

Взводный продолжал тем временем со связкой гранат бежать по траншее к Чолпонбаю.

Танк уже скрежетал траками по каменным склонам высоты.

Гитлеровцы прыгнули с танков на землю и шли за ними, охраняемые их стальной тушей, как щитом.

Траки вращались все ожесточенней, с душераздирающим скрежетом.

Правая рука Чолпонбая сама по себе уже нащупала связку гранат, левая сорвала предохранитель, и он, на миг показавшись из-за брусстера, метнул гранаты точно под гусеницу. Сам тут же свалился в окоп.

Прогремел взрыв. Потом второй: это бросил связку гранат взводный, подоспевший к месту боя.

От подорванного танка отпрянули бежавшие под его охраной пехотинцы. Их прожгла пулеметная очередь Сергея Деревянкина. Но в бой вступали новые силы.

Еще несколько минут, и высота будет во вражеском кольце.

И все-таки наши мужественно держались до ночи.

Вот тогда Деревянкин с гордостью подумал, что Чолпонбай стал на стоящим бойцом.

Сейчас в окопе у Дона перед броском на ту сторону Сергей Деревянкин и Чолпонбай Тулебердиев молча смотрели на реку, на тот берег. Дон временами темнел от теней проплывающих облаков. Бинобль Чолпонбая снова приблизил Меловую гору и замаскированный камнями дзот справа. Глаза охотника и следопыта тщательно высматривали и исследовали каждую тропинку, все их изгибы, все препятствия, которые могут встать на пути. Вон о тот камень можно опереться ногой, а чуть поодаль положить оружие, потом подтянуться на руках еще выше.



А там, кажется, мертвая зона для пулемета. Потом за тот валун — броском упасть за острый камень и оттуда лежа метнуть гранату в дзот...

«Все это так, если дзот один, — рассуждал сам с собою Чолпонбай. — А если есть еще? Если есть еще и слева? Где же та гильза? Или тогда показалось? Значит, не гильза блестела на солнце. Сейчас оно уже зашло, и тень на той стороне. Нет, мне не показалось... Но есть ли там дзот? Ведь гильза — еще не доказательство. Стоп, стоп, как это я не обратил внимания на тот камень? Странно он стоит. Не специально ли его развернули, чтобы им заслониться от обзора да и от обстрела?.. На Тянь-Шане так сами по себе камни не стояли. Вот солнце с запада освещает его, и что-то мне кажется, его недавно отделили от горы. А для чего? Не для того ли, чтобы поставить дзот? Если там дзот, значит, надо про запас еще гранату взять...»

Сергей вынул треугольник из кармана и удивился тому, как вздрагивают его пальцы, будто письмо обжигало их.

Оторвавшись от бинокля, Чолпонбай пытливо взглянул на Сергея.

— А если дзот и слева?.. — И тут он увидел руку Сергея. — Письмо получили? От кого? — быстро спросил он.

Сергей вздрогнул. Левая рука сама отстегнула нагрудный карман гимнастерки, чуть задев гвардейский значок, и опустила письмо обратно.

— Нет, это давнишнее.

— Как у вас на солнце значок блестит!..

— Но у тебя он лучше.

— Почему? — искренне удивился Чолпонбай.

— Почему? Ты разве не помнишь, как вручали?

— А, помню... — заулыбался Чолпонбай, и глаза его горделиво расширились. — После боя под Воронежем...

После того памятного боя вскоре им вручали гвардейское знамя.

...Преклонил колена командир полка.

Губами прикоснулся к багрецу знамени.

На полотнище силуэт Ленина: Ильич смотрел на запад, точно видел такое, что мог увидеть только он сквозь годы и расстояния...

А потом член Военного совета фронта спросил командира полка:

— Кто самый храбрый в полку?

Стало так тихо, что слышно было, как шумит листва, как волна набегает на берег, как знамя шевельнулось под ветром и как птица начала петь и вдруг осеклась, замерла перед странной тишиной выстроенных вооруженных людей...

Подполковник Казакевич внимательно оглядел строй.

Горохов.

Антопов.

Герман.

Захарин.

Он знал их. Знал их судьбы: отличные бойцы.

Глаза скользили по лицам, и трудно было выбрать, определить храбрейшего из храбрых.

Черновол.

Бениашвили.

Гилязетдинов.

Пауза затягивалась.

«Деревянкин... Но он же не в нашем полку, он, так сказать, придан дивизии, «дивизионке», он — «Красноармейское слово». Зоркий, внимательный, правдивый человек. И смельчак. Его очерк о Тулебердиеве прославил солдата-киргиза на всю дивизию. И правильно. Тулебердиев показал себя не раз как прекрасный боец, а в последнем бою, если бы его связка гранат не остановила танк, неизвестно, чем бы все кончилось.

А его, Деревянкина, корреспонденции о бойцах дивизии? Они как награда для отличившихся, как призыв для тех, кто еще не успел показать себя в боях».

— Рядовой Тулебердиев, товарищ член Военного совета! — твердо сказал командир полка.

— Он в строю? Я хочу первый гвардейский значок вручить первому среди первых храбрецов.

И член Военного совета показал значок. Он так блеснул на солнце, словно звездочка Героя, и Чолпонбай замер, не веря своим ушам: чтобы его так отличили... Может ли быть выше честь, когда тебя перед такими бывальными называют храбрецом.

— Рядовой Тулебердиев, выйти из строя.

Член Военного совета подошел к нему, обнял и сам прикрепил к его гимнастерке значок. Потом крепко пожал руку.

— Служу Советскому Союзу! — тихо, но твердо ответил Чолпонбай.

— Вы комсомолец, товарищ Тулебердиев?

— Нет.

— А комсомол гордился бы таким. Я читал о ваших подвигах в дивизионной газете. Думаю, что и вам бы хорошо было стать членом Ленинского комсомола. Чести быть комсомольцем вы заслуживаете, и уверен, что не раз подтвердите это делом.

В тот же день, в день получения гвардейского значка, Чолпонбай и еще несколько солдат подали заявления: Черновол, Метервели, Гилязетдинов...

Тулебердиев разыскал тогда Деревянкина в редакционной машине и попросил:

— Сергей, напишите за меня заявление, а я перепишу. Захарин говорит, чтобы я по-киргизски писал: мол, все равно поймут... А я ведь вступаю в Ленинский комсомол, вот и хочу заявить об этом по-русски, как Ленин. А если ошибки будут — некрасиво. По-русски я говорю, вы

даже сами сказали, что хорошо говорю, а вот писать по-русски не научился. Напишите.

Конечно, Деревянкин выполнил просьбу друга. Он долго в этот день был вместе с ним. Первым познакомил его с текстом обращения Военного совета (он принес с собой гранки завтрашней газеты), когда о нем еще никто не знал.

«Воины Красной Армии! Славные защитники донских рубежей! — читал он этот документ. — Вы не раз били здесь, на Дону, прихвостней гитлеровской шайки... В этих боях ваши сердца закалились волей к победе. Вы слышите стоны замученных и обездоленных советских людей — отцов и матерей, жен и детей наших! Ваши сердца преисполнены священной ненависти к фашистской мерзости, отребью рода человеческого. Так же, как и в боях под Москвой, Ростовом и Тихвином, вы ждете приказа — идти вперед на врага, на освобождение наших городов и сел, наших семей.

Наступил грозный час расплаты с лютым врагом...»

Днем пятого августа состоялось комсомольское собрание роты. Оно проходило в двух километрах от реки, в лесу.

Командир роты Антонов в своем кратком выступлении сказал о месте комсомольцев в бою и закончил речь так:

— Когда я вступил в комсомол, почувствовал себя сильней. И смелей. Комсомольский билет вместе со мной идет всегда в бой. Он придает мне силы. Комсомольцы с коммунистами всегда впереди, в самых опасных местах. По-моему, комсомолец — это самый хороший, самый смелый, самый бескорыстный друг и воин... Когда-то Максим Горький сказал: «Человек — это звучит гордо». Я беру на себя смелость чуть-чуть изменить первое слово и говорю: «Комсомолец — это звучит гордо!» — Антонов помедлил и добавил: — Гордо и ответственно...

Комсорг стал зачитывать заявления.

Сначала рассмотрели заявления украинца Остапа Черновола, грузина Серго Метервели, татарина Гайфуллы Гилязетдинова. Все они были единогласно приняты в ряды Всесоюзного Ленинского комсомола.

Когда очередь дошла до Тулебердиева, он уже стоял навывтяжку, сжимая автомат. Глаза его смотрели куда-то вдаль, сквозь лес, на тот берег реки, туда, где завтра каждое слово должно подтвердиться делом. За свою двадцатилетнюю жизнь молодой киргиз понял, что на всех языках одинаково ценен и уважаем человек, верный своему слову. Он успел повидать краснобаев, залихватских болтунов, проповедующих одно, но живущих вопреки своим проповедям.

Он же — сын Киргизии — знал лишь одно: Родина должна быть свободной! Во что бы то ни стало, но свободной! И больше всего он ценил тех, у кого слова не расходятся с делом.

Он знал, что надо заслужить право на вступление в комсомол, и теперь, когда перед строем ему первому вручили гвардейский значок,

когда его при всех называли храбрым, когда при всех сказали, что он достоин, — теперь он решился,

Чолпонбай стоял навытяжку, сжимая автомат, стоял как вкопанный. Взгляд его коснулся гвардейского значка.

— Клянусь, товарищи, не подведу вас.

А если понадобится, жизнь отдам, всю жизнь до последнего дыхания за Родину!

— Кто «за»? — спросил комсорг.

И руки всех взметнулись над головами.

— Единогласно!

— Поздравляю, гвардеец Тулебердиев! Вы приняты. Вы — комсомолец!

Своей радостью Чолпонбай поделился с родными. В тот же день он написал брату Токошу и своей любимой девушке.

«Милая Гюльнар! — писал он на клочке бумаги. — Моя радость, моя надежда, мой свет! Как долго не писал я тебе: на войне человек не принадлежит себе. Идут жаркие бои. Идут каждый день, по несколько раз в день. Ребята измотались. Мало спим, мало отдыхаем.

Но я держусь стойко. Твои письма согревают меня. А сегодня у меня большой праздник, великий день. Можешь поздравить — я комсомолец. В Ленинский комсомол принят. Я об этом, скажу по секрету, мечтал давно. Теперь буду драться за троих: за тебя, за комсомол, за себя. Мы остановили фашиста, не пускаем его дальше. И не пустим. Мы поклялись всей ротой не отступать ни на шаг. Будем идти только вперед. Поклялся и я перед друзьями.

Будем бить врага по-киргизски, как били его наши предки — батыры. Буду бить за тебя, за родной аул, за нашу солнечную республику, за Советскую власть...

...Скоро в бой пойдём. Очень хочется получить твоё письмо. А ещё больше — увидеть твои глаза, погладить твои шелковистые косички».

Хотелось ещё многое и о многом написать, но стало совсем темно. К тому же нора сменять Гилязетдинова на посту наблюдателя. Опять ни минуты не спал. Ну да ладно. Ещё один день...

Это было вчера. Сейчас казалось, что это было давно. Ведь в жизни порой годы кажутся короче дня, а день от рассвета до первых вечерних звезд — бесконечным. Как в пеоне: «Мне каждый миг казался часом, а час вытягивался в день».



Да нет, не вчера, не год, не тысячу лет назад — сегодня все это было.

И вот почему так усиленно бьется сердце: то обрывки, то целые картины пережитого проходят перед глазами, и жизнь кажется позади такой огромной, что даже воспоминаний от одного сегодняшнего дня — от этого вручения гвардейских значков, от принятия в комсомол, — уже одного такого дня хватило бы на всю жизнь. Как же она прекрасна, жизнь, если дала мне, Чоке, так много, если таким волнением потрясает душу! Чем отплатить за все? Чем?..

— Послушай, Чоке... — заговорил Сергей так тихо, что Чолпонбай насторожился и встревожился.

Так или почти так говорил Сергей, когда они хоронили друзей, павших смертью храбрых. Но сейчас оба они были целы и невредимы. Их группа, в которой Чолпонбай был одиннадцатым, завтра на рассвете, точнее, перед рассветом должна переправиться через Дон и овладеть Меловой горой. Завтра, но отчего же сегодня с такой грустью заговорил Сергей. Да и, честно говоря, весь сегодняшний день он пробыл со мной необычно долго, хотя (он знал это) надо было отнести материал в редакцию для завтрашнего номера газеты. А уже вечереет. Солнце спряталось за горизонт. А он со мной. И как-то странно, печально смотрит и все руку держит у сердца, около кармана, где хранит партийный билет. Вот он снова расстегивает карман, достает конверт, протягивает его:

— Возьми себя в руки, Чоке...

Еще ничего не подозревая, Чолпонбай рывком взял письмо, начал быстро читать и... ничего не понял: буквы дрожали как в лихорадке.

Прочитал еще раз...

«Токош погиб, Токош...»

Звенело в голове. Чем-то тяжелым стиснуло виски.

Сергей, посмотрев в лицо друга, вздрогнул: он ожидал всего, но только не этого. Перед ним, спрятав голову в плечи, стоял мальчик. И плакал навзрыд, захлебываясь.

Сергей даже растерялся. Надо что-то сказать, помочь как-то.

— Чоке! Возьми себя в руки... Стыдись перед памятью Токоша! Ему не нужны наши слезы. Токош требует мести. Ты слышишь меня? Мести в яростном бою!

Да, Чоке услышал. В его памяти пронеслись один за другим дни детства и юношества, проведенные вместе с Токошем. Возникали и тут же улетучивались куда-то в бездну горы, кони, скачки, школа, сокол... И всюду лицо Токоша. Скорее бы ночь, скорее бы переправа, бой... Он вспомнил письмо земляков, напечатанное в солдатской газете, которую он сохранил. Вытащил ее из противогазной сумки и стал вслух читать, наверное, для того, чтобы немного успокоить себя:

— «Киргизские джигиты, идущие в атаку плечом к плечу, сердцем

к сердцу, рука об руку с нашими братьями — русскими, украинцами, белорусами и всеми народами Страны Советов, бейте беспощадно врага! По обычаю наших предков преклонитесь, поцелуйте землю и поклонитесь: «Смерть фашистским оккупантам!» Клянусь! — произнес Чолпонбай.

Деревянкин положил руку на плечо друга и убежденно проговорил:

— Не победит враг горного орла, познавшего радость свободного полета!

Ночь... фронтовая ночь... А тихо, слишком тихо, чтобы в темноте бесшумно подползти к берегу, подтащить к воде лодку...

Оба берега как бы еще ближе придвинулись друг к другу. Оба настороженно слушают...

Догадываются ли фашисты, что мы должны сделать этой ночью? Знают ли, что собираемся наступать?

Или, может, сами готовятся к тому же, выжидают, когда тьма станет совсем непроницаемой?

Поползли. Ловко орудует локтями командир роты связи Горохов. Рядом совсем бесшумный Герман... «Эх, оказался бы тут и Сергей!» — думает Чолпонбай. В последний момент Деревянкина срочно вызвали в штаб дивизии. Только и оставил он эти две гранаты.

Неожиданно раздался громкий всплеск на реке. Что это — рыба? Ну да, что ей война!.. Резвится.

Замерли. Вот волна о камень ударилась. Да и волне все равно... Сверчки трещат... Мирно... Мирно?! Снова поползли. Вот уже и берег... Лозняк... Спят камыши. Сонно шепчется с берегом река, бормочет что-то...

Подтащили лодку. Теперь надо окопаться, врыться в землю на случай, если ракета взлетит в небо...

Лодку спрятали надежно: в трех шагах не увидишь. Может, и не окапываться? Нет, Горохов сказал, надо. Только тихо, чтобы лопата не звякнула о какой-нибудь камень или осколок... Фу-ты, черт! Так и есть. Напоролся на какую-то железяку. Осторожней... Ведь ты почти не слышишь, как окапываются другие рядом. Очень трудно дерн прорубать... Да еще лежа...

Стоп! Замри!

Невысоко взвилась ракета, пущенная с того берега. Мертвенный свет ее вырвал лезвие Дона, ножны берегов, отороченные камышом и лозняком.

И снова тьма: сразу после ракеты ничего не видно...

Бойцы продолжали вгрызаться в землю.

Ну, довольно. Проверю плотик: надо сено умять получше, потуже узел завязать...

— Тулебердиев!

— Слушаю, товарищ старший лейтенант.

— Герман и ваша четверка... — Голос его оборвала новая ракета.

Горохов приник головой к земле, заслоненный плотиком Чолпонбая.

— Ваша четверка с Германом, — продолжал он, не ожидая, пока погаснет ракета, и в упор глядя в настороженные, пытливые глаза Чолпонбая, — все вплавь. Ты говорил, что хорошо плаваешь. Пойдешь замыкающим. На всякий случай... Ясно? И входи в воду сразу за лодкой!

— Все ясно, товарищ старший лейтенант.

Горохов почувствовал, что при всей настороженности у Тулебердиева настроение решительное. Это приятно знать. Доброе расположение духа — это как подарок, особенно на войне. Значит, все должно быть хорошо.

Горохов развернулся и пополз к другому неглубокому окопчику, около которого в камышах спрятали лодку.

Рассыпая искры, с Меловой горы опять взмыла вверх ракета...

Когда она погасла, Горохов и пятеро солдат были уже в лодке. Оттолкнулись. Только начали выбираться из камышей, как противник снова осветил местность.

Замерли.

И снова не видно ничего: хоть глаза коли.

Герман и его четверка припали к земле.

Наконец неслышно ушла в темноту первая лодка.

Сапоги Чолпонбая сперва слегка увязали в глинистом пологом берегу, потом он почувствовал гальку. Чем дальше от берега, тем тверже становился грунт. Холодная вода несколько успокоила. Вот она уже по пояс, по грудь. Чоке решительно оттолкнулся ногами и, ведя одной рукой плотик, поверх которого лежало оружие и гранаты, поплыл замыкающим, как и было условлено.

Сразу же почувствовал течение. Недвижимый с виду Дон упруго и властно тянул плывущих за собой. Но всех заранее предупреждали об этом. Не зря и переправу начали так, чтобы постепенно течением снесло солдат к устью Орлиного лога, как раз напротив Меловой горы — там самое удобное место, чтобы причалить и выбраться.

Предрассветный туман надежно скрывал людей.

Какими медленными кажутся взмахи рук, как тяжело ногам в сапогах, какой бесконечной кажется окутанная тьмой и туманом полоса воды, отделяющая бойцов от вражеского берега!

Лодки не видно. Хорошо, что так темно! Скоро и середина.

Ракета!

На левом берегу командир полка Казакевич схватил телефонную трубку.



Артиллеристы замерли у орудий, стоявших наготове. Снаряды — в стволах.

Минометчики ждут приказа.

Пулеметчики держатся за рукоятки: большие пальцы легли на гашетки...

А вдруг наших заметят? Тогда надо прикрывать их огнем.

Струйка холодного пота побежала по лицу командира полка. Оттуда, с той точки, которую надо взять, развернется наше наступление на Острогжск, Белгород, Харьков. Огромный поток, лавина войск ринется вперед. Ринется или нет?! Все зависит сейчас от горстки храбрецов, тех, кто с Гороховым. От этих одиннадцати. И, в определенной степени, от судьбы.

Так обнаружат или нет?

Как долго висит эта проклятая ракета...

Подполковник Казакевич не заметил и сам, как близко поднес к губам телефонную трубку, как рука его застыла да и все тело окаменело от напряжения. Нет, черт подери, лучше плыть там, вместе со всеми, чем вот так стоять и чувствовать, что ты бессилен. Да, да, бессилен опередить события, хотя, кажется, сделал все, чтобы их предугадать...

А ракета все не гаснет! Нет, надо быть здесь: они же знают, что мы прикроем их огнем! Плывите, плывите, осторожней, быстрее!

Наконец ракета погасла...

Командир полка, правой рукой сжимавший трубку, вытер вспотевшее лицо. Глубоко вздохнул.

...Плыть становилось все труднее, темнота и туман рассеивались медленно.

Чолпонбай почувствовал, что кто-то стал замедлять движение и вот он уже около Чолпонбая. Это — Герман.

— Ногу судорогой свело, — прошептал он тревожно.

Чолпонбай молча подсунул свое плечо под руку взводного.

Он и сам ослабел: пловец был неважный. Но случившееся с командиром придало ему сил.

— Как бы оружие не потерять, — шепнул взводный, опираясь на плечо солдата и борясь с судорогой.

— Скоро доплывем, — успокаивающе ответил Чолпонбай, а сам, переложив оружие Германа на свой плотик, напрягся еще больше, чтобы не отставать от передних.

И в этот самый момент плотик вдруг накренился. Тулебердиев успел схватить автомат, но связка с гранатами и патронами ушла под воду. Патроны остались только в диске автомата. Гранат всего две.

— Скоро доплывем, — еще раз успокаивающе проговорил Чолпонбай. — Теперь уж до берега совсем близко.

«А если не открывают огня потому, что заметили и ждут, ждут, чтобы наверняка расстрелять в упор, как только выйдем на берег? —

невольно подумалось Чолпонбаю.— Все может быть. Надо быть готовым ко всему».

Что-то шевельнулось в камышах. Всплеснуло! Рыба или засада?

Опять дважды плеснуло что-то.

— Щука! — шепнул взводный.

«Сколько же еще плыть?» —

спросил сам себя Чолпонбай. И тут ноги нащупали твердую почву, гальку. Потом она перешла в глинистый пологий берег. Герман помог вытащить лодку. Вот все они, на ходу затягивая ремни, с патронными и гранатными сумками, сжимая в руках автоматы, выбрались из воды и залегли.

Оружие наготове.

Мокрые с головы до ног. Надо бы разуться, вылить воду из сапог да и глину счистить. Но время жмет.

— Напоминаю, — говорит командир роты, — группа Захарина идет слева. Группа Бениашвили — справа. Герман и Тулебердиев со мной. Пойдем прямо по склону Меловой.

Молча проводили четверку: она точно канула в туманную мглу Орлиного лога. Не слышно ни шагов, ни звона оружия. Молодцы!

Другая четверка скользнула по берегу вправо.

Горохов кивнул солдатам и первый двинулся к еще зыбким в утренних сумерках выступам Меловой горы.

Ползли по склону.

Покрытые глиной сапоги скользили.

Призрачно надвигался второй выступ, в который врос дзот. Почему-то кажется, что он вот-вот вместе с выступом сорвется с горы и пока-



тится вниз: сорвет крадущихся, карабкающихся людей, и все пропало...

Выше... Еще выше... Дзот совсем близко. Совсем, совсем...

Сто метров... девяносто... семьдесят...

Как тихо. Неладно что-то... Неужели не видят? Шестьдесят метров... И опять ни звука.

Пятьдесят... А, дьявол!.. Оступился, поскользнулся, покатился вниз Горохов. Все быстрее и быстрее. Подсек Германа. Это уже совсем плохо.

Подавшись вперед, напружинившись, Чолпонбай раскинул руки, словно бы врос в камень. Сам стал камнем, но удержал товарищей.

Замер. Тишина вокруг. Услышали? Нет. Потом подставил плечо Горохову. Тот вскарабкался и потянулся к выступу. За ним и Герман: Горохов подал ему руку, подтащил к себе.

Чолпонбай махнул им рукой, давая понять, что справится сам. Пока он помогал Горохову, пока подсаживал Германа, сумел лучше рассмотреть то, что видел вчера в бинокль с той стороны.

Цепляясь краями каблуков за выемки, опираясь о корни кустов, он взобрался на выступ. Оказался рядом с Гороховым и Германом. Отсюда — вверх, по козьей тропке. Вот уже и амбразура — видна щель. И эта щель, словно живое существо, заглядывает в самое сердце. А может, и правда наблюдают? Молчат только. Почему?

Горохов глазами дал понять Герману, чтобы он оставался с гранатами здесь, сам же с Чолпонбаем неслышно проскользнул в открытую дверь дзота...

На левом берегу командир полка не отнимал бинокля от глаз. Он видел движение группы Горохова, видел, как они поднялись до самого дзота и... будто пропали. Шли секунды, минуты... Если все будет в порядке, если этот дзот будет обезврежен, то кто-то из них должен дать условный сигнал.

Но не было видно ни Германа, ни Тулебердиева, ни самого Горохова.

Совсем рассвело. Надо начинать переправу. А условного сигнала не было. Горохов должен был трижды поднять оружие над головой.

Командир полка не отрывался от бинокля ни на секунду.

Неужели погибли?

Бегут, торопятся секунды, будто время убыстрило ход. Он ждал этого мгновения, и все-таки сигнал был для него столь неожиданным, что даже напугал. Он отчетливо увидел, как из-за дзота вышли Горохов и Тулебердиев, как Горохов трижды поднял над собой автомат.

Самая опасная точка больше не существует! Можно начать переправу.

Командир полка снова схватился за телефонную трубку:

— Нача...

И не договорил.

Показалось, что над самым ухом застрочил пулемет. Он бил с крайнего выступа Меловой горы. Бил оттуда, откуда его не ждали.

Не зря показалось вчера Чолпонбаю подозрительным расположение камня. Дзот контролировал огнем и реку, и подходы к Меловой горе, и подступы к уже обезвреженному дзоту.

Сейчас пулемет бьет по ним и каждую секунду может перенести удар на тех, кто начал форсировать реку. И переправа будет сорвана, если не перервать глотку этому дзоту. Но как? Как его взять? Как остановить огонь врага?

Эти вопросы неумолимо возникали не только перед командиром полка, но прежде всего перед теми, кто был на том берегу, у подножия Меловой горы...

— Справа придется! — крикнул Герман.

— Да, надо в обход! — подтвердил Горохов. — Но сколько времени потеряем? Сорвем переправу, если не заткнем ему глотку!

Чолпонбай тронул старшего лейтенанта за рукав и попросил так, словно речь шла не о нем, не о его жизни, а о чем-то постороннем, именно попросил:

— Разрешите мне напрямик?

— На-пря-мик? — Горохов даже протянул это слово: напрямик — значит верная смерть, верная, даже вдаль от дзота, Тут шансов нет ни одного из десяти. Ни одного из сотни. Ни одного из тысячи.

— Да, напрямик! — уже требовал Чолпонбай. — А вы оба бегом, в обход. Иначе сорвется переправа. Если я даже не сумею что-либо сделать, то хоть отвлеку на себя внимание противника. А вы за это время...

И тут Чолпонбай трижды поднял над собой автомат: как бы продублировал условленный сигнал.

— Давай, дружище! Вот тебе гранаты. — Горохов протянул свои.

— У меня есть дареные. От политрука Деревянкина...



Горохов обнял солдата, коснулся разгоряченной щекой щеки друга. И Чолпонбай быстро, как кошка, пополз на меловую кручу. Горохов и Герман устремились по каменной террасе в обход, чтобы с двух сторон блокировать дзот.

Был непонятный прилив сил: будто сейчас Чолпонбаю помогали все преодоленные им горы Тянь-Шаня, помогали месяцы тренировок и учений и еще что-то, неуловимое, неосоздаемое.

Глина, налипшая на подошвы у берега, отлетела, и теперь стало удобней опираться носками и каблуками сапог о выемки и расщелины в известняке. Пальцы точно сами видели, где им лучше уцепиться. Тепло стало легким, будто не было трудной переправы вплавь, не было подъема, не было рукопашной схватки в первом дзоте. Все началось сначала.

Он не замечал, что небо розовеет. Не мог оглянуться и увидеть белый масхалат редящего тумана, который утром скрывал от врага наши войска, уже готовые начать переправу. Чолпонбай знал, что она должна начаться, должна начаться сразу же, как только замолчит пулемет дзота.

Ступенька, карниз, еще ступенька...

Вот и амбразура.

Сколько до нее?

Метров пятнадцать? Нет, пожалуй, больше.

Вот он, ствол пулемета: бьет непрерывно, точно задыхается от злобы...

Так, теперь надо осмотреться еще раз. Слева не подобраться: кручи. Справа — тоже кручи... И выступ этот с дзотом, как огромный кулак, который занесен над теми, кто скоро начнет переправу.

И кругом чабрец или какая-то другая трава, издающая приятный степной запах. Кажется, все-таки чабрец.

Путь к дзоту только один, как ты и говорил Горохову: напрямик, к амбразуре. Другой дороги нет.

И, пытаясь заткнуть эту щель, прямо в амбразуру бросил Чолпонбай гранату.

В ту же секунду ствол пулемета, изрыгающий пламя и сталь, переместился сантиметров на пятнадцать — двадцать. Граната, ударившись о него, перекувыркнувшись, отлетела, покатилась и взорвалась неподалеку от Чолпонбая. Осколки известняка просвистели у самых ушей. Меловая пыль покрыла вторую, последнюю гранату. Он посмотрел на нее с надеждой, зачем-то вытер, перевел взгляд на дзот и перебросил через него эту последнюю гранату, рассчитывая, что она взорвется у входа.

Грохнул взрыв.

Но пулемет дзота не прекратил огня.

Потом почему-то смолк. В этом действии врага была какая-то загадка.

Чолпонбай услышал немецкую речь и увидел, как из амбразуры на него направили автомат. Он быстро подался в сторону и упал... Помедли он мгновение — автоматная очередь распоролла бы его наискосок.

Левое предплечье покрылось кровью; она потекла в рукав гимнастерки. Левая рука перестала подчиняться хозяину.

Желтовато-красные круги появились перед глазами. Послышались какие-то голоса. В памяти начали всплывать какие-то лица.

Чоке на миг увидел себя: вот он бежит за комиссаром полка — он должен попасть в число тех, кто первым переправится на правый берег Дона.

Вот он вытянулся перед комиссаром и будто слышит свой голос: «Или если мне еще комсомольского билета не выдали, то и доверить нельзя?!»

Вот он в бинокль рассматривает правый берег, отваленный камень... Струйка дыма... Легкий белесый туман раннего утра и еще что-то...

Нет, это не Меловая, это снежные горы Тянь-Шаня. Это в них летят пули...

Он вытаскивает из горной речки товарища, но пули летят в него.

Он садится на коня, но пули — в коня.

Он сажает сокола на плечо, но пули летят в сокола.

Он пасет овец с братом Токошем, но пули летят в грудь Токоша.

Из-за выступа горы волк-волчище: «Есть сила сильней моей: эта сила — человек!»

Вот Сергей Деревянкин в окопе смотрит на него: «Ну, здесь люди надежные!» А пули летят в Сергея.

Надо защитить и майора-комиссара, и друга, упавшего в реку, и Меловую гору, и Тянь-Шань, и коня, и сокола, и брата Токоша, и Сергея...

...А тут еще немецкие парашютисты — десант! Надо оторваться от земли, надо! Вот уже в штыковую кинулись. Спасибо, Сергей! Спасибо, брат, выручил!

Теперь моя очередь тебя заслонить! И Гюльнар! Вот она в тубетейке: косы по ветру, глаза счастливые, лучистые.

Зачем она здесь? А вокруг пули, и все летят в нее. Если он сейчас не встанет, то она упадет, погибнет навсегда!

Он встанет обязательно. Он спасет Гюльнар... Но сперва подожжет стог, на котором лазутчик!

Во как полыхнуло!

Нет, это огонь пулемета из дзота.

А вот голос Сергея: «Я просто вспомнил твои слова: «Чем умирать лежа, лучше умри стреляя!»

А если гранат уже нет?

Если кровь хлещет из раны и нет сил подняться?

Чем, чем стрелять? Как уберечь Гюльнар?..

Чолпонбай на мгновение очнулся. Он даже повернулся, точно мож-

но увернуться от боли. Он увидел, что плотики отчалили от нашего берега, что их все больше и больше и что по ним действительно хлестнула пулеметная струя...

И сердце Чолпонбая забилось еще сильнее. В его сознании наступило прояснение: «Ведь есть еще мое тело... Разве это не оружие? Я еще могу двигаться...»

Вот так же бил пулемет из танка, когда он, Чоке, около оврага остановил его связкой гранат. Но теперь не было гранат, не было патронов для автомата: он был один на один с вражеским дзотом. Всесильным, страшным, огнедышащим...

Нет, еще была свободная рука. Ею он ухватился за щербатый край площадки, на которой прочно утвердился дзот.

И опять желтые круги перед глазами. Уходят скалы, слышатся какие-то отрывки фраз:

«Я хочу первый гвардейский значок вручить первому среди первых...», «Рядовой Тулебердиев, выйти из строя!»

Рывком Чолпонбай ползет вперед... Все выше и ближе к дзоту. Метр, два, три... пять... Вот он уже на площадке, в мертвом пространстве: ни пулемет, ни автомат из дзота достать его здесь не могут. Стебли травы побагровели от крови. «Надо бы перевязать рану... Может, лежа на животе...

Нет, уже и автомат руки не держат, и не размотать бинта... Как пахнет чабрец!.. Это я дома... Наконец-то вернулся... Только сейчас сплню, потом пойдем с братом в горы...»

«Токош Тулебердиев пал смертью храбрых!» — прозвучало в ушах, и в ответ откуда-то издалека голос Сергея: «Надо отомстить!»

В памяти четко всплыли слова военной присяги, которую Чолпонбай торжественно принимал вместе с другими солдатами роты. Ее текст Чоке выучил сразу и навсегда. И вот отдельные фразы звучат в его ушах: «Я всегда готов по приказу рабоче-крестьянского правительства выступить на защиту моей Родины — Союза Советских Социалистических Республик, и как воин... клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни...»

А пулемет все бьет!..

И снова голос члена Военного совета: «Первому среди храбрых...»

Командир полка: «Рядовой Тулебердиев, выйти из строя!»

А рядом — Гюльнар, одна перед пулеметом.

Рядом Родина, и она перед пулеметом.

И если он, Чолпонбай, не спасет их, кто тогда спасет?!

Пошатываясь, он встал, качнулся, сделал несколько шагов вперед.

Из дзота снова ударил автомат.

Чолпонбай упал.

Метрах в пяти от дзота.

Лежит неподвижно...

С нашего берега командир полка в бинокль видит все.

— Погиб! — не в силах оторвать глаза от лежащего тела, говорит он, ни к кому не обращаясь.

— Погиб! — едва слышно проговорил комиссар.

И тут все увидели: гвардии рядовой Тулебердиев сначала прополз немного вперед, потом привстал и решительно бросился грудью на огненную струю...

Пулемет захлебнулся, умолк...

И едва замолчал пулемет, русское «ура», грозное, неумолимое, как возмездие, потрясло берега реки.

Донскую землю захлестнули мощные волны не первой и не последней атаки...

8 августа Совинформбюро коротко, без каких-либо подробностей сообщило о том, что южнее Воронежа наши части форсировали Дон. «Советские бойцы заняли два крупных населенных пункта. Бои идут на улицах нескольких других населенных пунктов...»

А несколькими днями позже с этого плацдарма войска Воронежского фронта развернули широкое наступление на Острогожск, Белгород, Харьков...

И вот уже много лет в километре от деревни Селявное, Давыдовского района, Воронежской области, на высоком холмистом берегу реки высится белокаменный обелиск, увенчанный пятиконечной звездой. На нем начертаны слова:

«Герой Советского Союза

Чолпонбай Тулебердиев

Погиб 6. VIII 1942 г.».

Яркий свет этого обелиска виден на много верст вокруг.

А внизу размеренно и плавно течет Тихий Дон — старинная русская река.

Для среднего и старшего возраста

СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ БОРЗУНОВ

НЕ ПЕРВАЯ АТАКА

Ответственный редактор

**Г. В. Быстрова**

Художественный редактор

**Л. Д. Бирюков**

Технический редактор

**Р. Б. Сиголаева**

Корректор

**Л. М. Агафонова**

Сдано в набор 31/VII 1973 г.. Подписано к печати 7/XII 1973 г. Формат 70X90<sup>1/16</sup>. Бум. офс. № 2. Печ. л. 4. Усл. печ. л. 4,68. Уч.-изд. л. 4,29. Тираж 300 000 экз. А13808. Заказ № 587. Цена 16 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский полиграфкомбинат детской литературы имени 50-летия СССР Росглаволиграфпрома Госкомиздата СМ РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**В серии «Слава солдатская» вышли и выходят книги:**

Березко Г. — Красная ракета  
Кожевников В. — Март-апрель  
Полевой Б. — Знамя полка  
Родимцев А. — Машенька из Мышеловки  
Симонов К. — Третий адъютант  
Тихонов Н. — Сибиряк на Неве  
Георгиевская Г. — Матрос Капитолина  
Никольский Н. — Ночь на Днепре  
Родимцев А. — Встаньте, живые!  
Соболев Л. — Батальон четверых  
Богомолов В. — Иван  
Гроссман В. — Жизнь  
Смирнов С. — Мы из Бреста  
Бринский А. — Девочка из Марьиной рощи  
Тихомолов С. — На крыльях АДД.

**Эти книги по мере выхода их в свет можно приобрести в магазинах Книготорга и потребительской кооперации.**

**К читателям**

Отзывы об этой книге  
просим присылать по адресу:  
Москва, А-47, ул. Горького, 43.  
Дом детской книги.

**Борзунов С. М.**

**Б82 Не первая атака. Документальная повесть. Рисунки А. Лурье. М., «Дет. лит.», 1973.**

61 с. с ил. (Слава солдатская).

Повесть о Герое Советского Союза Чолпонбае Тулебердиеве, повторившем подвиг Александра Матросова при форсировании Дона.

Цена 16 коп.



*Dominas*